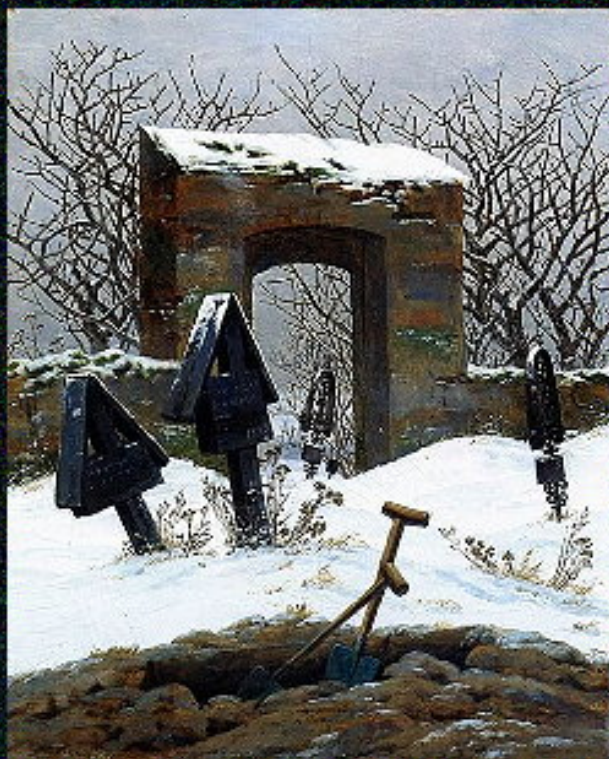


[Polaris]

Григорий  
БРЕЙТМАН



# МЕРТВАЯ СВЕЧА

Жуткие рассказы

**POLARIS**



**ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА**

**CDX**



**Salamandra P.V.V.**

Григорий  
БРЕЙТМАН

# МЕРТВАЯ СВЕЧА

Жуткие рассказы

Salamandra P.V.V.

## **Брейтман Г. Н.**

Мертвая свеча: Жуткие рассказы. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2022. — 188 с. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CDX).

Заснеженные кладбища, анатомические театры, клиники для душевнобольных, оживающие мертвецы и фантасмагорические видения — таковы темы и сюжеты собранных в этой книге рассказов известного и в царской России, и в эмиграции журналиста и писателя Г. Н. Брейтмана (1873-1949). Сам автор именовал эти произведения «жуткими рассказами». В число их входили и яркие рассказы, направленные против смертной казни и также представленные в сборнике. Книга завершает предпринятое нашим издательством переиздание избранных произведений Г. Н. Брейтмана, начатое в 2021 г. своеобразной энциклопедией «Преступный мир: Очерки из быта профессиональных преступников».

# **МЕРТВАЯ СВЕЧА**

## ПРОПАВШИЙ ТРУП

— В прошлом году, днем, накануне Рождества, — начал свой рассказ товарищ прокурора после усиленных просьб всего общества поделиться с ним ужасным случаем из его жизни, о чем он невзначай упомянул во время рождественского ужина, — я застал дома бумагу от прокурора с предложением немедленно отправиться для расследования одного исключительного дела, приведшего меня в крайнее недоумение и, вместе с тем, чуть ли не в бешенство.

Помилуйте, тут скоро надо было отправляться на рождественский ужин в приятное общество, но вместо этой идиллии приходилось в собачью погоду, с ветром и морозом, тащиться далеко на окраину города, в цитадель, часть бывшей крепости, в которой приютилась военная гауптвахта, военные склады, еще что-то военное и управление всех этих учреждений с небольшой казармой для караула...

Дело, приведшее меня в негодование, заключалось в похищении трупа казненного накануне преступника. Его, раба Божьего, повесили во дворе цитадели, как в самом удобном во всем городе для этой цели месте. За что, собственно, этого несчастного приговорили к смерти, я, право, не знаю, но в нашем тихом болоте случилась впервые такая оказия и, как на грех, сопровождалась она вышеназванным удивительным происшествием.

Кто-то украл труп! Похоронен он был за стеной цитадели, и, как полагается, без могильного холма: сравняли землю, и крышка — без сентиментальностей. А наутро, глядь — трупа как не бывало!

Нам, конечно, он не был нужен, но куда он девался, кому и для какой цели он понадобился? Зря ведь не похищают трупы, да еще казненных. Тут, значит, какая-то особенная причина, и оставлять это дело так — нельзя было.

Тревога поднялась необыкновенная. Сигнали на это дело кого только можно было: меня, следователя, полицмейстера, комендантского офицера, участкового пристава и, на-

конец, молодого человека, сыщика, нюхавшего воздух и интересовавшегося всеми мелочами.

Случай был необыкновенно загадочный: мы тщательно осмотрели двор, овраги за цитаделью, обнюхали всю местность и, конечно, разрытую могилу. Поиски происходили в темной, в самой мрачной обстановке, среди злых порывов вьюги и тоскливого воя ветра. Путь освещали солдаты с фонарями, и тени от людей и стен причудливо смешивались, росли и качались пред нами, прыгали по всем сторонам, надвигались, словно сама нечистая сила вместе с непогодой пристала к нам и не хотела отставать. Настроение получалось самое скверное, самое возмутительное. Кроме испорченного вечера, одного из самых обаятельных вечеров в году, тут еще создавалась будоражившая нервы, гнетущая тоска от всех этих рысканий в чертовских условиях за трупом повешенного. Воображение разыгрывалось, оно готово было видеть покойника выраставшим из снега, неистово кружившимся с протяжным свистом и жалобным стоном и затем уносимым метелью, невольно пугали и дергали нервы светлые полосы от фонарей, танцевавшие зигзагами на стенах цитадели, и угрюмые, темные овраги...

— А что, если он здесь шатается, и мы на него напоремся?... — вдруг сфантазировал, вероятно, ради отвлечения своих мыслей, полицмейстер, вообще любивший нехстати шутить.

У меня по телу прошла дрожь, и я понял, что и остальные почувствовали зачатки суеверного страха, так как все дружно ускорили шаги. Против нервов ведь ничего не придумаешь, и, хотя мы не обменивались мыслями, но в настроении были схожи. Мы почти бежали к цитадели в чаянии света и тепла. Голодными мы были, как псы, и большая, грязная и слабоосвещенная канцелярия, несмотря на свой мрачный колорит, показалась нам приветливой и гостеприимной.

— Как хотите, господа, а надо чего-нибудь поесть и... выпить, иначе невозможно! — тоскливо выразил общую мысль комендантский офицер. — Пойду на кухню, не может быть, чтобы там чего-либо не нашлось!



Сопутствуемый общими симпатиями и пожеланиями, он убежал и скоро возвратился весь сияющий, в полном восторге.

— Все идет великолепно, — воскликнул он, — сейчас будет прекрасный ужин и бутылка водки, которая, к счастью, оказалась у фельдфебеля. Только придется, господа, поскоромиться, постного ни-ни, последний борщ съел караул за ужином, говядины же припасено на завтра сколько угодно. Здешний повар обещал нам соорудить нечто особенное.

— Вот еще, — вскричал полицмейстер, — до постов ли теперь, если в такую ночь за трупами гоняемся!... Тут нечего разбирать — давай скоромное!

Он встретил, конечно, общее сочувствие и поддержку, потому что от известия, принесенного с кухни, голод наш значительно увеличился. Но, вместе с тем, все повеселели, у каждого явилась потребность забыть о пропавшем трупе и всякой чертовщине. Мы сговором принялись усаживаться вокруг большого письменного стола, и полицмейстер игриво обратился к сыщику.

— Ну, господин Лекок, как у вас дела? Нанюхали ли вы покойника?

Мы с любопытством и улыбками обратили свои взоры на молодого человека, который после короткой паузы произнес:

— Дайте собраться с мыслями, кое-что есть, поужинаем, я приведу все в систему и тогда доложу!

— Совершенно верно, — поддержал его следователь, — тогда и протокол составим.

Разговор тут прервался естественным порядком, потому что вошел повар, солдат в фартуке, и притащил груды мисок, деревянные ложки, вилки, большой черный хлеб и прочее. Одновременно комендантский офицер водрузил на столе бутылку с водкой, отнятую у фельдфебеля, и сказал:

— Ну, подумаем теперь о живых, а потом снова возьмемся за мертвых!

Тут на столе очутились стаканчики, и полицмейстер, с необыкновенной быстротой и ловкостью открывший бутылку, стал наполнять их тем напитком, от которого все люди



морщатся и плюют, но который с удовольствием пьют.

«Голод не тетка», и мы усердно опрокидывали стаканчики в рот, забыв о всех покойниках на свете. Откуда взялось оживление, шутки и прибаутки, и когда вошел повар, он был встречен почти восторженно. Он тащил, словно в облаках, огромную кастрюлю, из которой, как из бани, валил пар, а острый запах сразу покори́л нас.

Это было не то рагу, не то жаркое с картофелем в клочковатом соусе с перцем, луком и еще чем-то, с очень пряным, едким, почти удушливым ароматом, от которого сладострастно царапало и щекотало в горле...

Мы долго занимались жеванием, чавканьем и действовали ножами, ложками и вилками, пока, наконец, наполнили вдосталь свои желудки, и на душе у нас стало легче, как-то светлее. Все сразу заговорили, обратив приятные взоры на принесенный чайник с кипятком, и постепенно беседа возвратилась к похищенному покойнику.

— Вначале я предполагал, — начал сыщик, — что труп вырыли собаки, как это иногда бывает, и стащили его в овраг. Но к концу я убедился, что труп украден одним человеком: все данные говорят за это, есть характерные царапины на стене, произведенные втаскиванием трупа, затем, способ вырытия трупа указывает на это обстоятельство.

— Так вы полагаете, что труп находится здесь, в цитадели? — воскликнули мы не без возбуждения.

— Конечно, — твердо ответил сыщик, — труп здесь, в цитадели; но сознаюсь вам, что я, хотя кой-где и обнюхал, но еще ничего не нашел.

Мы сидели изумленные, желая не верить словам сыщика.

— Но кому он нужен? — воскликнул встревоженный комендантский офицер.

— А черт его знает, — пожал плечами сыщик, — постараюсь узнать. Вот выпьем чай, и я всю цитадель перетрушу.

— Так, значит, придется всю ночь шарить? — печально спросил следователь, которому, по-видимому, очень хотелось домой.

— Ничего не поделаешь, — уныло подтвердил офицер, — еще спасибо, что Воликов накормил нас, а то на голодный желудок...

Он не закончил фразы. Словно раненый, вскрикнул и внезапно и стремительно вскочил сыщик. Кровь застыла у меня в жилах от неожиданности, все сидели, пораженные суеверным страхом, к чему были заранее предрасположены всеми этими страстями. Нервы легко поддавались разным впечатлениям, непонятная боязнь охватила меня, я опасался посмотреть в сторону окна, на дверь, мне уже чудилось появление чего-то страшного вроде трупа, смерти или еще чего-нибудь. Никто не знал сути дела, все растерялись.

— Похититель есть, он у нас в руках, скоро будет и труп! — заговорил сыщик, вытирая выступивший у него на лбу пот.

— Где, кто, как? — в один голос закричали мы.

— Труп украл наш повар! — уверенно продолжал сыщик, — И он его где-то здесь спрятал!

Мы переглянулись в полнейшем недоумении.

— Господь с вами, — воскликнул следователь, — почему вы пришли к такому заключению?

— Я не знал, кого подозревать, — продолжал в волнении сыщик, — но вдруг я сейчас услышал фамилию повара — Воликов.

— Ну так что?

— Так ведь похищенного казненного звали также Воликов! — крикнул нам в лицо сыщик, словно в отчаянии, что мы еще не уяснили себе дела.

При этих словах все вздрогнули: действительно, фамилия казненного была Воликов, о чем мы совершенно забыли. Мы стали напрягать свои мозги, чтобы сопоставить эти обстоятельства, но сыщик, видя, что мы таращим на него глаза, не ждал уже наших вопросов, а отвечал прямо на наши мысли.

— Если бы не было, на первый взгляд, загадочного похищения трупа, это совпадение не имело бы никакого значения, но теперь, по теории вероятности, покойник и по-

хититель должны быть родственниками, вероятно, они братья. Я буду необыкновенно изумлен, если это не подтвердится.

Мы, конечно, сразу согласились с сыщиком и заволоновались. Не знаю, как на других, но на меня, помимо всего, произвела очень сильное впечатление эта трагедия повара. С содроганием сердца я подумал о душевной драме, пережитой бедным солдатом, которому пришлось быть очевидцем ужасной смерти брата. Он не мог оказать ему помощи, послать прощальное слово.

Подавленные, бледные, мы молчали, больше чувствуя, чем анализируя, события, с которыми столкнула нас судьба. Нам было не по себе, как будто стыдно, хотя мы не были повинны в разыгравшейся драме. Возвратил нас к реальной жизни сыщик, уже чувствовавший себя царем положения.

— Следует немедленно произвести у него обыск, и мы найдем труп, — сказал он. — Повар спрятал его, чтобы в удобное время унести в город и похоронить по христианскому обряду. Теперь же, видя нас, он должен принять меры, чтобы скрыть труп. Пора покончить нам с этим проклятым делом, не ночевать же здесь.

Мы вздрогнули пред предстоящим финалом этого ужасного случая, но согласились, что пора приняться за наши обязанности. Мы покорно последовали за сыщиком в подвал, где помещалась кухня, и я не мог сдерживать мелкой, нервной дрожи. Я с трепетом ждал предстоящей сцены, я боялся взрыва отчаяния у бедного солдата, его горя и слез. Моя фантазия уже учитывала все это и рисовала душу потрясающую картину.

Томимый неясным, но тяжелым предчувствием, я вошел вслед за другими в обширную, слабоосвещенную, казенного типа кухню с огромной плитой и печью, громоздкими столами, табуретами и скамьями, грудой дров, разбросанными горшками и котлами, с темными полками на стенах, грязью, копотью, паром и чадом.

Мы сразу отыскивали глазами Воликова. Он сидел в темном углу на скамье, склонившись головой на стол. Казалось, он

заснул.

Сыщик немедленно приступил к делу.

— Воликов...

Повар сразу, словно его укололи, вскочил и устремил на нас взор, полный беспокойного внимания. Его красные, словно налитые кровью глаза казались крайне утомленными, но, вместе с тем, в них жило какое-то странное, очень сильное выражение, которого я не мог тогда понять.

— Воликов, говори прямо, где труп твоего брата?

Повар не испугался; его мрачные, воспаленные глаза с ненавистью, дерзко, почти вызывающе смотрели на нас. По вздувшимся жилам на шее видно было, что в нем бурлит и рвется наружу какой-то порыв. Он не отказывался и лишь тоном глухого презрения произнес:

— Найдите!...

Сыщика, в противоположность нам, мало трогала личность преступника.

— Приступим к обыску, — предложил он, и мы в знак согласия кивнули ему головами. Он забежал по кухне, роясь во всех закоулках, разбросал дрова и кучу старых тюфяков, почему-то попавших в кухню, заглянул в печь и наконец, почти обескураженный, бросил взгляд на печь, где виднелась постель Воликова, состоявшая из наваленных в кучу грязной подушки, тулупа, шинели, какого-то темного рядна, служившего, вероятно, вместо одеяла, и тонкого, сбитого, как блин, сенника...

Подчиняясь какому-то наитию, сыщик вскочил на плиту и стал шарить на печи, но, по-видимому, он не нашел ничего интересного, потому что поворотил к нам свое недоумевающее лицо и готов был уже соскочить на пол. Но как-то скорее машинально, чем сознательно, он просунул руку под подушку и лицо его сразу изменилось...

Глаза его широко раскрылись от безграничного удивления, и несколько секунд он продержал руку под подушкой, как будто желая угадать, на что он наткнулся, и наконец он вытащил руку...

Дикий, потрясающий, холодящий кровь и душу крик, на какой только может быть способен человек, подвергшийся

внезапному припадку смертельного ужаса, вырвался из груди сыщика и заставил всех нас помертветь от потрясения, но то, что мы вслед за этим увидели, парализовало нас страхом, недоступным человеческому описанию...

Сыщик держал за волосы человеческую голову с синими веками и щеками и ключьями черного мяса вместо шеи... Весь содрогнувшись от пароксизма ужаса и отвращения, он швырнул от себя страшную находку, и мертвая голова полетела в нашу группу...

Мы не выдержали. Подхваченные в свою очередь стпхийным, чисто животным, уничтожающим мысль и волю страхом, мы все бросились вон из кухни. Но тут другой, способный свести с ума вопль приковал нас у порога к месту.

Перед дверью стоял повар. Он поднял руки кверху и неистово, в безумном восторге орал. Он был невероятно страшен в своем яростном торжестве, и в первый момент я едва не упал. Но затем это обилие непостижимых ужасов, волной захвативших нас, внезапно привело всех в себя, инстинкт самосохранения возвратил нам сознание действительности. И вслед за пережитыми потрясениями мы перешли к неожиданной ярости...

Мы почти подняли на воздух безумствовавшего повара и отбросили его в угол. Мы были способны задушить его.

— Где труп, негодяй? — завопил я в припадке бешенства.

Лицо повара исказилось торжествующей злобой победителя; прижавшись к углу, он голосом, полным нестерпимой ненависти, швырнул нам ясно, с каким-то сладострастием, отчеканивая каждое слово:

— Вы съели его сейчас за ужином, и вот вам осталось еще на завтра...

Указав рукой на куски мяса на столе, он разразился неистовым хохотом безумца и с глухим стуком повалился в страшном припадке на пол...

## СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

### I

Сыщик Лещинский, читавший внимательно газету, вдруг вздрогнул и произнес с заметным волнением:

— Огнем уничтожен замок Гагеншмидтов.

Мы невольно заинтересовались этим, прочитанным сыщиком в газете, случаем и я не удержался от вопроса:

— Этот замок, вероятно, вам знаком по какому-либо преступлению, которое вам пришлось раскрывать?

Лещинский сидел несколько минут в задумчивости и мы с нетерпением ждали его ответа. Мы чувствовали, что нас ждет какой-либо рассказ об одном из бесчисленных и разнообразных походов старого сыщика.

Лещинский, продолжая, по-видимому, о чем-то вспоминать, медленно закурил папиросу, затянулся два раза, стряхнул пепел в предназначенное для этого медное ведерцо и тогда, словно про себя, начал:

— Из всех кровавых событий, которые я встречал на своем длинном веку, это, несомненно, самое удивительное. Весь интерес этой исключительной драмы заключается не в количестве поглощенных ею жертв, а в ее необъяснимости. Если бы я сам не был очевидцем этого, скажу прямо, сверхъестественного происшествия, я бы ни за что не поверил моему рассказу и знаю, что и вы ему не поверите, и я вас за это не буду осуждать. Такому рассказу нельзя верить, потому что до сих пор я сам иногда сомневаюсь, происходило ли оно в действительности, не был ли это сон, галлюцинация или просто период моего безумия, — до того все это было необычайно. Меня до сих пор приводит в ужас не кровь, не трупы, — о, я их видел много в течение моей жизни, — а ужасает только эта необъяснимость. Скажу откровенно, эта таинственность отказалась не по моему разуму, это было вне моего искусства, где чертовщина смешалась с

реальной правдой и где впервые меня пронял настоящий страх. Итак, слушайте и... и не верьте мне.

## II

Это было вскоре после первой революции в России. Однажды в моем кабинете появился благообразный, высокий старик с суровым лицом, тщательно выбритый, с густой седой шевелюрой. Он, по-видимому, был очень стар, но в то же время совершенно бодрый, крепкий, так и хочется сказать: могучий. Тут ярко выражалось соединение сил характера и воли с силой физической. Он держался прямо, говорил громко, смотрел своими серыми глазами властно и твердо, прямо вам в глаза и, во время беседы, редко отводил взор в сторону.

Мы поздоровались. Я пригласил его сесть и сказал ему откровенно:

— Несомненно, вы явились по серьезному делу. Для каждого дела у меня должно быть столько времени, сколько оно требует, но не больше. И потому прошу вас, говорите все. Спокойно, просто и коротко. Я вижу по вас, что вам это не будет трудно.

— Я иначе не умею говорить, — ответил старик совершенно мне в тон, что сразу подкупило меня в его пользу, и немедленно приступил к делу, не спеша и без пауз. — Меня зовут Герман Гагеншмидт, я владелец имения «Гагеншмидт» в Курляндии. В последнее время я стал объектом какого-то таинственного шантажа. Другой на моем месте давно бы пал духом, но я не из таких людей и не желаю понимать никакой чертовщины.

— Чертовщины? — улыбнулся я. — Разве чертовщина существует?

— Я не знаю, что это такое. Для выяснения этого я и пришел к вам, — ответил старик. — Но я знаю, что я стал от неизвестных негодяев получать подметные, угрожающие письма.



— Ну, — вздохнул я облегченно, — это в настоящее время модное явление.

— Да, но не при таких обстоятельствах, как у меня. Письма неизвестно каким образом проникают в мой кабинет, ключ от которого всегда находится при мне. Я знаю все вопросы, которые вы намерены мне задать, и отвечаю вам на них. Кабинет мой изолирован и имеет одну дубовую, обитую медью дверь из моей спальни. Он на втором этаже моего замка, имеет всего одно окно, которое не отворяется. Для того, чтобы дойти до моего кабинета, необходимо пройти почти через все главные помещения замка, и это невозможно, чтобы остаться незамеченным. Второго ключа от двери ни у кого нет. Письма попадают в мой кабинет ночью, когда я сплю перед запертой дверью в мой кабинет. Один раз я даже запечатал кабинет и наутро нашел письмо на письменном столе.

Тут старик сделал легкую паузу и как-то нажал свой взгляд на мой удивленный, вопросительный взор, словно давая мне время усвоить его рассказ, и затем почти закричал с оттенком гнева:

— Одним словом, никто в мой кабинет не может пройти, слышите, это абсолютно невозможно, невозможно, невозможно...

Гагеншмидт боролся с одолевающим его волнением. Глаза его налились кровью, но возбуждение его выразилось только в некоторой торопливости речи. Он продолжал отвечать на мои мысленные вопросы и его ответы производили на меня необыкновенно сильное впечатление. Я стал чувствовать, что мое искусство сыщика, мои теория и опыт начинают терять почву. Дело стало меня уже путать.

— Письма появлялись на моем столе с известными промежутками времени. Иногда раз в неделю, иногда раз в две недели, а бывало, и по два раза в неделю. Они писались в моем кабинете, а не приносились уже готовыми. Они написаны на моей бумаге и моим карандашом. После первых двух писем, я унес из кабинета все чернила, ручки, перья, карандаши и всю бумагу, на которой можно было писать. Но, когда я все уносил, я заметил исчезновение большого

красного карандаша. Этим карандашом негодяи писали мне письма на похищенной у меня бумаге.

— Какие основания у вас для такого предположения? — невольно воскликнул я.

Сперва старик мне ответил коротким, жестким смехом, скорее похожим на кашель, затем, покачав головой, как будто сожалея по поводу моей наивности, он глухо сказал:

— Вчера я получил последнее письмо и на нем лежал похищенный у меня раньше красный карандаш.

Я сидел совершенно растерянный, а старик, словно торжествуя, вытащил из бокового кармана своей суконной блузы толстый красный карандаш и сложенный вчетверо лист почтовой бумаги.

— Почему вы убеждены, что это тот самый карандаш? — спросил я.

— На нем есть знак, который я однажды в задумчивости сделал зубами. Что же касается письма, то вы по его содержанию убедитесь, что оно последнее.

Гагеншмидт передал мне карандаш и записку. На карандаш я только взглянул и отложил в сторону и быстро затем развернул записку. На сероватой бумаге словно горели написанные красным карандашом слова:

«Борьба бесполезна. Мы привыкли умирать от руки Гагеншмидтов, но теперь смерти будут последние. За каждую жизнь, отнятую всеми Гагеншмидтами, должен ответить одной каплей крови последний Гагеншмидт, но ее не хватит у него для полного расчета. Лучше кончай сам свой подлый род, потому что мы будем идти на тебя до последнего человека. Мы разговоры с тобою кончаем и в последний раз предупреждаем: ничего тебе не поможет и ничего тебя не спасет».

Во время чтения мной этой записки, Гагеншмидт следил за выражением моего лица и, хотя письмо изумило меня, я постарался внешне сохранить спокойствие. Опустив письмо на колени, я в свою очередь твердо посмотрел в глаза старику и спросил:

— Господин Гагеншмидт, в чем дело?

Гагеншмидт выдержал мой взгляд, но какая-то нерешительность тормозила его ответ. Это обстоятельство я признал очень важным и задержал его в памяти для дальнейшего руководства. Наконец, Гагеншмидт осторожно произнес:

— В нашем уезде, кажется, образовалась какая-то революционная компания, центр которой находится в моем имении. Мои предки давно боролись, и беспощадно, с бунтарскими настроениями среди крестьян нашего имения, и, естественно, что эти качества местного населения должны были особенно ярко выразиться в настоящее время. Судя по их письмам, они хотят уничтожить меня, как помещика и человека.

Лицо старика покрылось краской гнева, губы его дрожали.

— Почему вы не желаете показать мне остальные письма? — спросил я.

— Пожалуйста!

Гагеншмидт достал из бокового кармана пачку писем и передал мне.

Я стал немедленно перечитывать их. Они были почти все одинакового содержания, в том же тоне, как последнее письмо, что борьба будет «теперь» бесполезна. Наконец, письмо от 7-го августа дает Гагеншмидту срок одну неделю. Следующее письмо, через десять дней после этого, уже содержало, между прочим, следующие слова, на которые я обратил внимание потому, что до последнего письма эта фраза повторяется в разных редакциях: «Теперь наши смерти от руки Гагеншмидта последние». Мой вывод детектива выразился в следующих словах, обращенных к Гагеншмидту:

— Вы правы, в этой последней борьбе пока побеждаете вы. Конечно, вы имеете право убивать людей, покушающихся на вашу жизнь, но ваше появление у меня доказывает, что вы потеряли надежду довести борьбу до благополучного конца. По-видимому, против вас очень большой заговор и всех ваших врагов вы не в силах будете перебить. Тогда у вас явилась надежда ликвидировать этот заговор другим пу-

тем — с помощью законной власти, одним словом, дать делу официальный ход.

Я заметил, как старик насторожился при моей речи и, когда я окончил, сурово, почти недовольным тоном ответил:

— Я только теперь, явившись к вам, приступаю к борьбе с моими врагами и я никого не мог убить потому, что я почти не выхожу из своего замка, даже днем, и если покидаю его в редких случаях, то с большими предосторожностями.

— Тогда почему ваши враги в своих письмах упоминают после 7-го августа о каких-то смертях от вашей руки? Я полагал, что после 7-го августа на вас покушались и вы убили преступника. Сознаюсь, я очень удивлен своей ошибкой. Тогда о каких смертях от руки Гагеншмидта говорят в записке?

— Я сам ничего не понимаю, — ответил угрюмо Гагеншмидт. — На меня не было произведено ни одного покушения и потому я не был поставлен в необходимость кого-либо убивать. У меня в замке теперь находится штаб карательного отряда, командированного в наш уезд для борьбы с революционерами. Офицеры и солдаты знают, что я боюсь покушения, охраняют тщательно замок и подтвердят, что я никуда не выхожу. Я словно в заключении.

Окончив, старик стал медленно вытирать со лба пот.

— Господин Гагеншмидт, я обещаю применить все свое искусство, чтобы выяснить личности ваших врагов. Через два дня я приеду в ваш замок, но о цели моего прибытия никому не сообщайте.

— Благодарю вас. Я буду очень счастлив, если вы достигнете того, что мне не придется никого остерегаться, и я смогу спокойно окончить свои дни, — ответил старик, вставая и крепко пожимая мне руку.

Когда он ушел, я долго еще сидел на своем месте в раздумье и наконец, не выдержав, громко произнес:

— Гагеншмидт чего-то недоговаривает.

И я решил, что его также необходимо будет включить в сферу моих наблюдений.

### III

Весь день я находился под впечатлением этого дела, и ни одно соображение не удовлетворяло меня. Но вдруг, одно обстоятельство сразу подвинуло его вперед и... вместе с тем осложнило его.

Поздно вечером меня позвал звонок телефона. Приложив к уху трубку, я после первых слов говорившего воскликнул:

— Хамелеон, это вы?

— Я, господин Лещинский. Я только что приехал сюда поездом и извиняюсь, что беспокою вас так поздно, но у меня крайне важное дело и мало времени.

— Ну что ж! приезжайте сейчас, дорогой мой, — ответил я. — Кстати, и я с вами посоветуюсь кое о чем. Я вас жду.

Это был очень способный сыщик. Фамилия его была Соловей, но в полицейском мире его прозвали Хамелеоном за его удивительное умение приспособляться ко всем компаниям, ко всякой среде, где он быстро и легко усваивал быт и манеры, тон, внешний вид, жаргон и т. д. Он всюду проникал как свой человек и приобретал доверие и влияние. Он добывал сведения непосредственно из первоисточника и потому они всегда были крайне ценные.

Этот-то Хамелеон и явился ко мне ночью усталый, небритый и в каком-то странном наряде, не то колониста, не то рабочего или зажиточного крестьянина. Я понял, что он из какой-то командировки. Я обрадовался его приезду, потому что чувствовал потребность посоветоваться с кем-нибудь по делу Гагеншмидта, а Хамелеон был очень подходящим для этого лицом. Я его принял очень радушно, предложил чаю, и вот, подкрепившись, он сел против меня и воскликнул:

— Вот дело, от которого можно сойти с ума!

— Путаное? — спросил я.

— Путаное можно распутать, а оно какое-то... психически-ненормальное.

Я рассмеялся, а Хамелеон продолжал:

— Иначе я его не могу назвать. Я себя чувствую в нем — дурак дураком.

Тогда я предложил:

— В таком случае, рассказывайте сначала ваше дело, а затем я вам доложу свое, также психически-ненормальное, как вы выражаетесь.

— Так слушайте, — начал Хамелеон, раскуривая трубку (это доказывало, что он сейчас возвращается в среде, где преимущественно курят трубки). По ходатайству губернатора, меня послали разобраться в ряде крайне загадочных убийств. Внешние обстоятельства очень простые. Убитые находились в поле около деревни, или на улице, или в каком-либо саду. Убийца во всех случаях действовал браунингом. Жертвы убивались наповал сильной и уверенной рукой, но не в упор. Убийца (я убежден, что это дело одного и того же лица) не оставлял никаких следов. Правда, одно обстоятельство обратило мое внимание: при каждом убитом находился заряженный браунинг. Я сообразил, что тут дело не случайное, что это что-то местное, бытовое. Тогда я решил здесь осесть и ознакомиться с жизнью местного населения. Я чувствовал, что корень этих преступлений сидит где-то глубже.

Я пристроился с большим трудом в качестве приказчика к местному, сравнительно крупному, торговцу свиньями, богатому крестьянину, владельцу большой фермы. Я у него исполняю также обязанности конторщика. Он ценит мою грамотность и, так сказать, бывалость. У него много рабочих, и вот тут я скоро зацепился за интересующее меня дело. Оказывается, что этот уезд считается очень революционным. Здесь находится много активных деятелей в отношении всяких революционных эксцессов, так сказать, местного, сепаратного характера. Они совершили в революционное время массу поджогов, убийств, грабежей, шантажей, развели много шаек и т. д. Вообще, они терроризировали все окружающее население, так что помещики долго не могли спокойно жить в своих имениях и до последнего времени проживали в больших городах. И только карательные отряды правительства несколько уgomонили бунтарей, но все-таки большинство этих бунтарских компаний еще жи-

во и иногда проявляют себя отдельными выступлениями, а в общем ждут для себя лучшего будущего, т. е. более удобного времени для новых выступлений и эксцессов. И вот, первым моим успехом было то, что я выяснил, что все убитые неизвестно кем крестьяне принадлежали к крупной местной организации экспроприаторов-мстителей, которые уже два года наводят ужас далеко за границами уезда. Почему-то эта шайка называется «Рука мальчика». Правда, в последние месяцы эта шайка несколько присмирела. Карательные отряды сделали свое дело: она должна была вместе с революцией, за которую цеплялась, спрятаться в подполье. Но все-таки она является наблюдающим аппаратом и известным образом продолжает терроризировать помещиков, фабрикантов, купцов и вообще богатых жителей уезда. В недра компании «Рука мальчика» трудно проникнуть человеку из других мест и малознакомому, но с некоторыми близко стоящими к ней лицами я свел дружбу и кое-что мне удалось узнать об их внутренней жизни. В особенности в этом отношении полезны женщины. И когда я установил, что все убитые при одинаково загадочных обстоятельствах крестьяне являются членами общества «Рука мальчика», я предположил, что я уже стал на твердый путь моих розысков. Много я узнал всяких вещей, но они не имеют никакого отношения к моему делу. Но, между прочим, мое внимание привлек заговор «Руки мальчика» против местного помещика Гагеншмидта.

— Что? Гагеншмидта? — воскликнул я, вскочив с кресла.

— Вы знаете его? — в свою очередь изумился Хамелеон, расширяя глаза.

— Да, да, знаю, — ответил я, усаживаясь на свое место. — Пожалуйста, не обращайтесь внимания на мое волнение, а продолжайте рассказ. Это необыкновенно интересно.

Хамелеон несколько минут, видимо заинтересованный моим возгласом, внимательно смотрел на меня, покачал головой и затем продолжал:

— За Гагеншмидтом охотятся уже давно. Его решили убить, и ему, судя по всему, несдобровать. Но самое удивительное и важное во всей этой истории то, что Гагеншмидт,



по-видимому, знает о готовящейся ему участи и тщательно прячется от своих убийц. Он почти не выходит из своего гранитного и хорошо защищаемого замка, в котором живет часть карательного отряда, значительно умеряющего пыл «Руки мальчика». И в то же время...

Хамелеон задержал конец своей фразы, нагнулся ко мне, вперил в меня свой взор и отчеканил слова:

— И в то же время, все население убеждено, что крестьян убивает не кто другой, как Гагеншмидт.

#### IV

Я ожидал и одновременно боялся, что Хамелеон подтвердит такую же мою мысль. Да! при всей несообразности ее, я не мог сойти с предположения, что убийцей крестьян является Гагеншмидт. Но как он это делает, при каких обстоятельствах?

После долгой паузы, Хамелеон развел руками и заговорил возбужденно:

— Вот тут-то и есть то, что я в шутку называл «психически-ненормальным». Понимаете, господин Лещинский! Я месяц слежу за Гагеншмидтом и его замком и голову даю на отсечение, что во время совершения всех убийств он не выходил из своего замка. Его алиби несомненно. Я сам пойду доказывать это, а между тем, некому больше совершать этих убийств, и я не поклянусь, что их совершает не Гагеншмидт. Разве нельзя сойти с ума?

— Да, тут много есть головоломного, — ответил я, — и для полноты картины позвольте вам заявить, что у меня был вчера и сидел на том месте, на котором сидите вы, сам Гагеншмидт!

Хамелеон даже привскочил и неизвестно, обрадовался ли он или изумился.

— Он был у вас?

— Да, был, и вот что, мой друг, он мне рассказал.

Я подробно передал Хамелеону мою беседу с Гагеншмид-

том. Он слушал с напряженным вниманием, и, по-видимому, мой рассказ произвел на него очень сильное впечатление. Мы долго молча смотрели друг другу в глаза и я первым прервал молчание.

— Как это ни дико, но я также чувствую, что крестьян убивает Гагеншмидт. Таинственные письма об этом говорят так же, как мне это сказали глаза и манера беседы со мною самого Гагеншмидта.

— Но это безумие!

— Что ж делать! Вы сами назвали это преступление психически-ненормальным. Необходимо считаться с ним как с ненормальным. Станем на время и мы ненормальными в наших выводах. Теперь, друг мой, может быть, вы сможете мне объяснить, что за причина этого заговора, этой погони за жизнью Гагеншмидта, какая причина этой ненависти?! Что сделал такого ужасного этот Гагеншмидт, какое преступление он совершил?

Я по глазам Хамелеона увидел, что он готовит какой-то эффект.

— Он совершил страшное преступление, — произнес он.

— Когда?

— Двести лет тому назад!!

Я взглянул строго на Хамелеона и убедился, что он не шутит.

— Объясните, что это значит, — потребовал я

— По каким-то непонятным причинам, местное население олицетворяет в лице живущего теперь Гагеншмидта весь род Гагеншмидтов. И в лице его мстят не ему лично, а всему его роду. Правда, Гагеншмидт суров, скуп, нелюдим, но таких помещиков, как он, существует много. Несомненно, он имеет характерные черты и особенности своих предков, но теперь ведь не те условия жизни, чтобы они были кому-нибудь страшны. Но сейчас наступает финал старой трагедии, происшедшей двести лет тому назад. Эта ужасная история все время жива в памяти местных крестьян, которые из рода в род жаждут мести. С той поры имя Гагеншмидтов ненавистно здесь. Я только не понимаю, почему именно сейчас эта история ожила в душах людей, и «Ру-

ка мальчика» решила сделать настоящего Гагеншмидта ответственным за вину его далекого предка. Но какая-то важная причина существует, это вне всякого сомнения. Подробности этой мрачной истории мне рассказала одна старая крестьянка, и слушайте, в чем заключается вина Гагеншмидта.

Хамелеон набил свою трубку свежим табаком, хлебнул холодного чаю, раскурил, затянулся и тогда лишь начал свой рассказ.

## V

Двести лет тому назад в вотчине Гагеншмидта жил довольно зажиточный мельник, Генрих Куприян, пользовавшийся большой популярностью и уважением среди местного населения. Куприян прежде всего был человек грамотный, затем, он хорошо играл на скрипке, а главное, в умственном развитии он стоял выше своих односельчан. Последние с этим считались, ценили его качества, любили его и вследствие этого он пользовался большим влиянием. Он был общим советчиком, знахарем и другом. Ни одно спорное дело не обходилось без его участия, и его большая изба была центром общественной жизни села. Помимо его главных достоинств, Генрих Куприян был человеком общительным, веселого нрава и словоохотливым.

У Генриха Куприяна была дочь Юлька. Если все село любило мельника, то его дочь все село просто обожало.

Юлька была очаровательная 16-летняя девушка, как говорит предание, какой-то святой красоты. Это была хрупкая блондинка с ясным лицом ребенка. Ее нравственная чистота выражалась в ее манерах, голосе, взоре, во всем ее лучезарном облике. Это была необыкновенная девушка. Ясная, светлая улыбка всегда играла на ее устах. Когда же случалось, что эта улыбка превращалась в хрустальный, звонкий смех, — всех охватывала радость. Эту девушку окружало необыкновенное почитание. Недаром местный пастор ска-

зал, что все помешались на Юльке — и стар, и млад, мужчины и женщины.

Почему все так обожали Юльку? Таким вопросом никто тогда не задавался. Она выделялась своим внешним и душевным обликом среди всего населения села. Ее преимущество в этом отношении признавалось всеми, но ей никто не завидовал. Нельзя указать точно, за что ее любили: за красоту ли, за безответность, кротость, за доброту, за ее чудную душу, золотое сердце, за простоту ли ее, за преданность и жалость ко всем бедным и страдающим. Неизвестно, за что все любили Юльку, но любили так, как теперь, может быть, нигде и никого не любят. А как пела Юлька, какой у нее был голос! Для ее односельчан не было, кажется, большего праздника, как слушать Юлькино пение. Пела она в церкви, на свадьбах, вечеринках, пела она вечером на улице и в лодке на реке, и все заслушивались до слез ее чудную песню. За все боготворили Юльку. С необыкновенною радостью ее принимали во всякой избе, куда она приходила с советом, утешением, помощью, поздравлением или какой-нибудь просьбою.

Все парни на селе готовы были за Юльку на смерть пойти, но никто не смел даже мечтать о том, чтобы повести ее к алтарю. Все верили, что не для этого живет Юлька, что далеки от ее души и желаний супружество, мужские ласки и поцелуи, что не по ней они, что на этот счет какая-то чудная она, но, может быть, за это самое она и стояла выше других в глазах всех.

Никому из парней никогда и на ум не могло прийти позволить себе сказать при Юльке какое-либо худое слово, или обнять ее, или поцеловать, или, вообще, сделать с ней или при ней какую-нибудь вольность, какую они позволяли себе со всякой другой девушкой на селе. К ней относились, как к ангелу, с чувством глубокой искренности. Для каждого было большим счастьем доставить Юльке радость, удовольствие или оказать какую-либо услугу. Всякий гордился этим и стремился к этому. Только старый Куприян часто с грустью поглядывал на свою чудную дочь и отече-

ская забота о ее будущности омрачала его душу. «Не для этого света рождена Юлька, — думал он, — что ожидает ее?»

Его пугал ее молитвенный экстаз, прозрачность ее души, ее светлая, ясная радость, все то, что привлекало к ней все сердца и окружало ореолом чистоты и мудрости, словно она была общая совесть и правда.

И играла, как капля росы на солнце, жизнь Юльки, пока хищный зверь вдруг не пленился этими переливами красоты, обласкавшими его зверские глаза.

Карл Гагеншмидт, помещик, случайно увидел Юльку. Страшный Карл Гагеншмидт стал перед Юлькой и вперил в нее свой стальной, удивленный взгляд. Это было в Троицын день, когда все село гуляло на лугу и когда вся, до сих пор веселая, праздничная толпа вдруг испуганно замолкла и побледнела, как один человек. Толпа увидала Карла Гагеншмидта и поняла, как он смотрел на лучезарную Юльку. Что сказал тихо Карл Гагеншмидт своему егерю, неизвестно, но он еще раз ударил плохим взглядом Юльку и поехал дальше. И словно темная туча налетела на народ, прогнала светлое веселье, смех; сразу в беспокойстве задохнулся праздник. Одна Юлька ничего не почувствовала и не поняла, не почувала своей судьбы и горя.

И не напрасно тяжелое беспокойство спаяло народ — предчувствие толпы страшно сбылось: не забыл Карл Гагеншмидт хрустального взора, эмалевого лица, золотистых волос и всей, как фарфоровая статуэтка, фигурки прелестной Юльки. Отравила она его проклятое воображение, кровь и желание. Манит его Юлька, дразнит мечта о ее красоте, интригует его подлую похоть ее чистый облик. Не любил в чем-либо нуждаться Карл Гагеншмидт, чего-либо желать и не получить, а тем более — женскую утеху. В этом он себе никогда не отказывал, а тяготение к такой забаве имел всегда лютное. И не может обойтись без Юлькиной ласки Карл Гагеншмидт. Ни охота, ни вино, ни игра не могут отвлечь его от потребности в Юльке, и стал гоняться страшный помещик за Юлькой. Сначала тихо и спокойно, а затем все настойчивее. Когда он несколько раз побывал, под различными предложениями, в избе старого Куприяна, на смерть ис-

пугался Куприян. Он стал прятать Юльку от горячих взглядов, сладких слов и подходов грозного помещика, но не унялся Гагеншмидт. Он принялся везде искать Юльку. Она на свадьбе, и он туда же вваливался с подарками для невесты и милостями для жениха; хоровод ли молодежь водит, Карл Гагеншмидт тут как тут, и все трется около Юльки.

Всех в тоску поверг помещик преследованием их любимицы, а сама Юлька не знала, куда уйти ей, где укрыться от ухаживаний противного Гагеншмидта, что делать ей. И постепенно пропали на селе веселье и вечеринки, прекратились песни и хороводы, озаботились люди, и старый и молодой не знали, как оградить Юльку от когтей ужасного помещика.

Все более и более омрачался Карл Гагеншмидт своими неудачами у Юльки. Видел он, что прячется она от него, не хочет ни его милостей, ни подарков, ни ласки. Первое время надеялся помещик повлиять добротой на Юльку, а затем, как стала у него душа гореть, требуя Юльку, принялся Гагеншмидт за вино. И чем больше он заливался им, тем горячее стал желать он Юльку. Ее упорство еще сильнее раздувало огонь, зажженный ею в его душе. Уже стал терять терпение и власть над собою Карл Гагеншмидт. Все чаще и чаще стал думать он о том, что никто никогда не смел ни в чем перечить ему, что он всемогущ у себя в вотчине. Он видел, что вместе с Юлькой все крестьяне вступили с ним в борьбу; ему казалось, что все смеются над его неудачей и слабостью. Это приводило его в ярость и рождало жажду мести. Его гордость не могла вынести такого оскорбления, чтобы над ним издевались его собственные крестьяне. И он решился во что бы то ни стало победить Юльку и все село. Видя, что маска кротости, которую он накинул на себя, не помогла ему, он сорвал ее и стал прежним страшным Гагеншмидтом.

Катастрофа приближалась, все население жило в страхе за участь Юльки. Люди чувствовали, что Гагеншмидт что-то подготавливает, что не может он так оставить этого дела. Все хорошо знали Гагеншмидта. Да наконец, до них из замка достигали слухи о поведении Гагеншмидта, о нарас-

стании в нем ярости к Юльке и крестьянам. Все были осведомлены о страшных угрозах помещика и о том, что он готовится что-то предпринять. Трепетало от страха все село, блее белого ходила Юлька и, наконец, соседи решили увезти Юльку, украсть ее от Гагеншмидта, скрыть ее далеко от села. Все знали, что многие пострадают и жизнью, и кожей, и свободой от грозного феодала, но Юлька была для всех дороже. Они не могли отдать ее с легким сердцем проклятому помещику. Да опоздали крестьяне, не удалось их благое, дело, не спасли они Юльку. Как буря, одной ночью налетел пьяный и свирепый Гагеншмидт на дом мельника. До полусмерти избили рьяные и пьяные егеря старика Куприяна и унесли в замок полумертвую от ужаса бедную Юльку. Из теплой постели выхватила ее пьяная ватага и очутилась девушка на широком диване в спальне Гагеншмидта.

Тревожный церковный набат разбудил все село. Встрепенулись крестьяне, почуяв катастрофу. Они заполонили улицу и узнали, что произошло дело страшнее пожара — Гагеншмидт похитил их Юльку и унес в свое гранитное логовище, стоявшее, как огромный камень, на горе, над рекой. Заголосили бабы и ребята, как раненые звери, заревели мужики и парни. Заметались люди. Общий вопль понесся к небу, но никто там не услышал их горя и пропала, осталась у Гагеншмидта Юлька. Как порывом ветра отнесло всю толпу к замку, и стоны людей, не помнящих себя от горя и негодования, достигли внутренности замка.. Забыли люди, что Гагеншмидт их помещик и властитель, впервые с существования села позволили они <себе> угрожать и идти на помещика. Столкнулись гнев крестьян и гнев их владельца. Конечно, победил помещик. Как бешеные черти, налетели на толпу егеря Гагеншмидта с самим во главе. С гиком, свистом и бранью стали они нагайками трепать людей и, когда парни осмелились камнями сбросить трех егерей с лошадей, стал палить Гагеншмидт в своих подданных и десять человек остались в лужах крови перед замком. А остальная, ужасом охваченная толпа убежала далеко от страшного замка.



Было темно, как в норе суслика, а толпа сбилась в кучу перед церковью и рыдала. И вот, странное чудо случилось с людьми, мысли которых об участи Юльки все ширились, страдания и тоска росли и разрывали их груди. Как будто стены замка разошлись перед их глазами, как будто взоры всех людей проникли сквозь толстый гранит во внутренность замка помещика, словно слух всех так разросся, что каждый звук издали стал доступен всему народу, и люди как будто оказались там внутри, в спальне отвратительного Гагеншмидта, и сделались свидетелями мучительной участи святой Юльки.

Все видели люди, все слышали люди, все чувствовали люди, и еще страшнее сделалась их участь, может быть, не легче, чем даже страдания самой Юльки. Все, от мала до велика, видели, как измывается пьяный и сладострастный Гагеншмидт над бедной Юлькой, как клует его гнусная страсть белое тело и светлую душу Юльки; все, от мала до велика, слышали, как плачет, стонет и жалобно молится несчастная страдалница; все видели и чувствовали, как трепещет и бьется она в лапах грубого и немилосердного помещика, как душит он ее жадными поцелуями и зверскими ласками, как треплет бедняжку бесстыдная, тупая и пьяная похоть. Был дождь, пронеслась гроза, а народ все стоял под открытым небом и наблюдал, как шло надругание над его Юлькой. Юлька уже не плакала и не просила, а народ не переставал плакать. Народ видел и понимал, что непорочность и святость Юльки разжигают Гагеншмидта и сладость надругания придает особую остроту его безумствованию над девушкой. Все слышал, видел и перечувствовал народ и молился Богу за данное им чудо.

Когда же выкатилось на небо словно гневное, красное солнце, оставил наконец Юльку Гагеншмидт и, как усталый и сытый зверь, упал и заснул на огромной шкуре медведя. И с первым грустным звуком церковного колокола принесли егеря бедную Юльку к дверям дома старика Куприяна, оставили на пороге и ушли, озираясь, как дикие волки. Тогда, без шума и говора, подняли девушки девушку на руки и после того, как Юлька что-то тихо сказала одной из под-

руг, девушки понесли ее не в дом отца, а к церковной паперти и здесь положили ее перед входом в церковь, на покрытый простыней тулуп.

Тихо и жалобно призывал колокол к заутрене, тихо стояла без шапок толпа вокруг Юльки, которая слабо улыбалась, поднимая иногда ресницы с своих потускневших глаз. Она знала, что никому не нужны ее жалобы, потому что в спальне Гагеншмидта она видела весь народ, который вместе с ней страдал и плакал. И только печально качал над толпой свои звуки церковный колокол, будто сочувствуя всем и утешая.

И только когда солнце окончательно взошло на самую верхушку неба, умчалась туда прекрасная душа бедной Юльки. Тщедушное, истощенное тело покойницы внесли в церковь и к вечеру поспешили похоронить в ограде вместе с десятью парнями, убитыми сворой Гагеншмидта. И когда крестьяне уходили из церковной ограды, они понятно и твердо смотрели друг другу в глаза. И хотя Карл Гагеншмидт был всемогущ и грозен, он после того долго не выходил из своего крепкого замка и, наконец, совсем ушел из него, ибо беспокойно было у него на душе. Потом то и дело горели его скирды, сараи и конюшни, дохли отравленные кем-то лошади и убивались кем-то его егеря, но он только посылал наказывать виновников, возвратиться же в замок не посмел. Так и подох он в Ковно, проклинаясь Богом и людьми.

С тех пор не может забыть народ о бедной Юльке, и скоро после ее смерти молодой живописец, сын пастора, который учился рисованию в Берлине и находился в селе во время гибели Юльки, нарисовал большую картину, занявшую полстены в церковном притворе. На этой картине стояла толпа крестьян Гагеншмидта, которые были все соединены рукопожатиями. Лица всех крестьян были нарисованы сыном пастора с натуры и были как живые, и жуткое впечатление производило выражение их лиц и глаз, — такая в них горела ненависть и вера в месть.

Но узнал скоро об этом Карл Гагеншмидт, велел убрать картину из притвора и доставить ее в Ковно. А в Ковно он

позвал другого художника и заказал ему, чтобы он перед толпой нарисовал его, Карла Гагеншмидта, портрет, с гордым, вызывающим выражением лица. Затем он послал картину в свой замок и приказал вделать ее в стену его кабинета.

## VI

Последующие события развернулись быстро, подталкивая друг друга.

На третий день я приехал в имение Гагеншмидта вместе с Хамелеоном, предварительно решив ничему не удивляться и верить всему сверхъестественному. Мы были приготовлены ко всему. Мы становились если не участниками, то свидетелями какого-то явления мистического происхождения и не желали мудрить. Нам важны были сообщения и факты, которые отвечали сами за себя, и не наше дело было заниматься отвлеченными рассуждениями о их природе. Не молебны же нам было служить для избавления от всей этой сверхъестественности? А что она нас ждет, мы это предчувствовали и лишь слабая надежда была у нас, что мы найдем реальное объяснение всей происходящей драме в имении Гагеншмидта.

Гагеншмидт встретил меня приветливо, несколько удивился Хамелеону, которого я представил своим агентом, и с места уведомил меня, что сегодня ночью снова найден был убитым молодой парень Игнат Ярош. Я следил за стариком, но он и глазом не моргнул, только казался озабоченным. Я полагал, что его немного беспокоит наш приезд в связи с высказанным мной ему раньше предположением, что он убивает своих врагов. Мне уже казалось, что он жалеет, что пригласил меня вмешаться в тайну его замка.

Хозяин проводил нас в отведенную для меня комнату и приказал прислуге приготовить другую для моего товарища. Мы поблагодарили его и, когда он уходил, я его предупредил, что мне придется с ним побеседовать подробно

по поводу дела и что я ему дам знать, когда он должен будет для этого уделить мне время. Гагеншмидт заявил мне, что он сегодня не собирается покидать замка и потому он во всякое время к моим услугам.

Он ушел. Мы привели себя в порядок, позавтракали и принялись за дело. Хамелеон немедленно отправился на село к трупу Яроша, а я стал знакомиться с внутренним помещением и жизнью замка. Это было тяжелое гранитное здание, мрачное, с низкими комнатами, с частыми сводами и каменными полами. Широкий и короткий, без башен, замок словно распластался на горе над рекой. А под горой раскинулось большое зажиточное село, окаймляя, словно осаждая, замок помещика.

Я долго бродил по двору и помещениям замка. В покои помещика я пока не проникал, а сначала ограничился общими комнатами, службами, кухней и т. д. Побывал я, конечно, при штабе карательного отряда, познакомился с офицерами штаба и даже пообедал с ними. Они были рады свежнему человеку. Я им привез последние газеты и новости. Непринужденная беседа скоро сблизила нас и пошли всякие разговоры. Я навел беседу на тему о загадочных убийствах крестьян и все были того мнения, что это свои своих укоshawивают.

— В таких шайках всегда друг с другом счеты сводят, — объяснил один офицер, — без этого у них нельзя.

— Пусть себе! Не стоит об этом и беспокоиться, — добавил другой. — Это дело их внутреннего распорядка, — соштрил он.

Я упомянул о слухах, циркулирующих среди крестьян, что убийцей является хозяин замка, и это вызвало много веселых протестов. И вот, от всех я услышал одно утверждение, что Гагеншмидт не мог этого делать, что одно время за ним было даже специальное наблюдение и было точно установлено, что помещик во время убийств не покидал своей квартиры, из которой нет ни отдельного, ни скрытого выхода. И лишь в конце беседы, совершенно случайная фраза одного капитана заставила меня встрепенуться

и почувствовать, что я получил ценный вклад в свое предприятие.

— Я бы на его месте с тоски покончил бы с собой, — сказал капитан, — я однажды даже взволновался, когда услышал выстрел; так и думал, что старик пустил себе пулю в голову.

Я затаил дыхание и насторожился.

— Кто это стрелял? — невинным тоном спросил я.

— Да Гагеншмидт! Он как «наберется», так иногда и бухает из браунинга.

— Почему же вы думаете, что из браунинга? — поинтересовался я.

— Ну, выстрел из браунинга всегда узнать можно! — сказал капитан.

— Ведь, кажется, говорили, что он чуть ли не ежедневно напивается коньяком, так значит, он ежедневно упражняется таким образом из браунинга? — задал я вопрос.

— Не всегда, а иногда, когда у него настроение бывает! — ответил другой офицер.

— Хоть бы днем палил, — присовокупил молодой поручик, — а то выбирает время ночью, только пугает со сна. Думаешь, что тревога.

Я старался долго не прекращать об этом разговора, потому что он представлял для меня значение колоссальной важности и когда я возвратился, наконец, к себе, я с трудом дождался Хамелеона.

Он сразу заметил, что я что-то достал.

— У вас был хороший улов? — обратился он ко мне.

— Кажется, — ответил я, — значение моих сведений зависит от справок, которые я получу от вас.

— Будут сопоставления?

— Да, и потому, пожалуйста, отвечайте мне по возможности точнее на мои вопросы. Выяснили ли вы определенно, в какое время происходят убийства членов «Руки мальчика?»

— Точно не могу сказать, но приблизительно между 12 и 2 часами ночи.

— В этом есть известная точность. Теперь, друг мой, до-

станьте свою записную книжку и сопоставляйте мои выводы. Предупреждаю, что всех убийств я не мог учесть, но некоторые должны были произойти 1 августа, 8 сентября, 9 октября, 25 октября. Эти числа я установил, друг мой, чисто детективным путем. Они правильны?

— Совершенно правильны! — воскликнул Хамелеон. — Я вам верю, что вы не наводили справок о днях убийств, иначе вы узнали бы все числа, а не некоторые. Как же вы достигли таких результатов? Ведь это имеет громадное значение в отношении правильности схваченной вами нити.

Я быстро ознакомил Хамелеона с моей сегодняшней беседой с офицерами, причем подробно остановился на ночных упражнениях с браунингом Гагеншмидта.

Хамелеона необыкновенно взволновало мое сообщение.

— И вы... вы... — дрогнувшим голосом проговорил он, — не желая верить происшедшему эффекту моего розыска, вы добились у офицеров указаний, что 1 августа, 8 сентября, 9 октября и 25 октября Гагеншмидт ночью стрелял?

— Да, в эти дни между 12-ю и 2-мя часами ночи! Что вы скажете на это, мой друг?

Хамелеон, бледный, смотрел на меня.

— В эти числа ночью были убиты Иоганн Абакум, Карл Лешке, Семен Пенке и Роберт Сакен, — прошептал он почти испуганно.

— Что это такое? — также в сильном волнении обратился я к Хамелеону.

— Ничего не понимаю, — развел он руками. — Но как, как?!... Святым духом, что ли?

— Ничего не знаю, — почувствовав внезапную слабость, ответил я. — Надо или возиться дальше с этой чертовщиной, или бежать отсюда.

— Бежать? Ни за что!.. Я готов лучше попасть в ад, чем оставить такое безумное дело. Черт, так черт! Наплевать! — полный внезапной решимости, заявил он. — Ведь это мировое происшествие.

Я также овладел собой и вполне согласился с моим товарищем.

— Да, надо не задумываться, а примириться со всей таин-

ственностью, признать ее реальным фактом. Сознаюсь, я не предполагал, что я буду таким малодушными. Какое счастье, что офицеры случайно вспомнили числа нескольких дней, когда они слышали выстрелы из комнаты Гагеншмидта. Один в эту ночь возвратился из отпуска, другой был именинником, третий упал с лошади и не спал и т. д. Теперь, друг мой, что нам делать дальше?

— Необходимо осмотреть помещение Гагеншмидта. Может быть, там есть какие-нибудь ходы, потайные двери. Я хочу понюхать воздух в кабинете Гагеншмидта.

— Это необходимо, но следует сделать это деликатно, — ответил я, — не хватать сразу за горло. Ведь он опирается на свое «алиби», как на каменную гору. Пока вы не разрушите таинственную сторону этих убийств, он будет неуязвим. Как там ни рассуждайте, но ведь Гагеншмидт все-таки защищается от убийц.

— Совершенно верно, — усмехнулся озабоченно Хамелеон, — тогда что же делать? Ведь мы не можем пока обрушиться на «Руку мальчика». У них ведь все крайне конспиративно. Я не могу схватить человека, который думает кого-то убить. Нельзя арестовать сегодня ночью Юлиана Липака, которому поручено сторожить Гагеншмидта. Гагеншмидт не выходит из своей комнаты, а Липак ничего не предпринимает, чтобы пробраться в замок.

— Сегодня очередь Липака? — спросил я.

— Теперь вообще его очередь отслеживать и посматривать за замком. Какая у шайки цель этого надзора, не могу понять.

— Тоже, вероятно, что-нибудь сомнамбулическое, — засмеялся я и добавил: — По-видимому, не даром они жертвуют своими товарищами, несомненно, что-то подготавливается.

— Конечно. Я заметил какое-то особенное настроение среди крестьян. Они что-то шепчутся и все очень сосредоточены и серьезны.

— Но что, если Гагеншмидт слишком увлекается заговорами против него, уничтожая столько людей, — спросил я, — тогда необходимо как-нибудь это дело вырвать из туши

и прекратить эту бойню. Может быть, нам удастся примирить врагов и вообще как-нибудь ликвидировать эту дикую историю.

— Правда, надо немедленно приняться за дело. Что будет, то будет! Пойдем к Гагеншмидту.

## VII

Я никак не ожидал, что эта ночь даст еще какие-либо важные результаты, а тем более такого фантастического характера.

Был уже вечер, когда нас принял Герман Гагеншмидт. Он находился в своей спальне, перед наполненным огнем камином. Старик сидел в кресле, согнувшись, и тянул изо всех сил дым из своей длинной, старой вишневой трубки. Веки и глаза его были такие же красные, как и огонь, и я сразу заметил, что он уже проглотил много коньяку из двух бутылок, стоявших на столе. Со скрытым недружелюбием встретил он нас, но попросил сесть. Мы не сразу атаковали его, а стали развлекать. Я стал внимательно осматривать его комнату и скоро заметил на небольшом, заваленном трубками, охотничьими ножами, патронами и какими-то тряпками столике два черневших больших браунинга. Что же касается моего товарища, то он, согласно нашему плану, принялся развлекать хозяина рассказами о своих наблюдениях над шайкой «Рука мальчика». Эти сведения крайне заинтересовали Гагеншмидта. Подробности заговора против него сильно взволновали его и наша осведомленность о шайке сильно подкупала его в нашу пользу. Он увидел, что мы серьезно занялись этим делом, недаром потратили время и действовали в его интересах. Так, постепенно, ободренный нами, старик был подготовлен к тому, чтобы показать нам его кабинет. Мы ему объяснили, что это необходимо для борьбы со слухами о совершаемых якобы им убийствах крестьян, причем сказали, что существует легенда, будто из его кабинета идет потайной подземный ход в село. Старик урю-



мо засмеялся и, после короткого раздумья, согласился показать нам свой кабинет, который казался нашему воображению скрывающим ту тайну, которую мы явились разрезать.

Тяжело, со скрежещущим звуком, словно нехотя, отворилась дубовая, обитая зеленоватой медью дверь, и мы вошли в довольно большую, с низким, нависшим потолком комнату. Гагеншмидт внес за нами лампу и поставил ее на грузном, неуклюжем, оголенном от бумаг столе. Обстановка кабинета была незначительна. Несколько дубовых массивных кресел, упомянутый стол, старый кожаный диван около высокой и широкой лежанки при низком и широком камине. Затем виднелось много неинтересной комнатной рухляди, несколько волчьих шкур, группа ружей в углу и т. д. Видно было, что кабинет остается необитаемым и, может быть, мы скоро оставили бы эту холодную, неуютную и даже неприятную комнату, которая пахла погребом и тюрьмой, но одно зрелище заставило нас остановиться.

Мы стояли перед огромной, почти в полстены картиной, о которой мы слышали уже и которую, вследствие этого, мы сейчас же узнали.

Картина не висела на стене, а была как-то в нее вделана. Она была без рамы, как будто нарисована на камне. Краски уже получили темный колорит, но кой-где, на светлых местах, они казались свежими и яркими. Мы смотрели с удивлением на группу крестьян, отвечающих друг другу братским рукопожатием, и их глаза и выражение лиц доказывали, что рисовал их искренний и вдохновенный художник, который мог чувствовать чужую душу и показывать ее другими. Ужасны были лица крестьян, в них засело необыкновенно сильное выражение чувства и страдания. Великим художником должен был быть тот, кто рисовал эту картину. Он постиг человеческие страсти и сохранил их на своей картине. Все, все, что чувствовали люди двести лет назад, осталось на этой картине, словно эти люди не умирали и остались на вечную жизнь на этом грубом полотне, почти сросшемся с гранитной старой стеной. Но совсем другой вид имела фигура предка нашего хозяина, Карла Га-

геншмидта. Его громоздкая фигура на краю картины хотя и стояла вызывающе, но не имела ни жизни, ни цвета.

Мы долго стояли перед этой замечательной картиной, и дрожь проходила по нашему телу. Правда, картина нас взволновала, но, кроме того, еще какое-то особенное, непонятное впечатление осталось у меня от этой картины, но в чем оно заключалось, я не мог себе объяснить. Я напрягал все свое внимание, память, но ничего не помогало. И когда Гагеншмидт, наконец, взял лампу, я и Хамелеон пошли за ним беспрекословно, полные сложных впечатлений и недоумения.

## VIII

Когда мы возвратились в мою комнату, мы сели один против другого, молча обдумывая создавшееся положение. Я видел, что Хамелеон находится все еще в недоумении, но я не знал, такого ли оно содержания, как и мое, или по другой причине. Я же был необыкновенно смущен одним обстоятельством, о котором говорить Хамелеону пока не хотел. И мы сидели довольно долго, погруженные в молчание, ломая голову над интересовавшими нас загадками. Мы то и дело взглядывали серьезно друг другу в глаза, но не решались вытаскивать своих мыслей, потому что уверенность покинула нас. Наконец, я прервал молчание, чтобы как-нибудь суммировать наблюдения последних часов.

— Я вынес из посещения кабинета Гагеншмидта такое впечатление, будто он эту картину держит в заключении, приковал ее к стене. Колорит и атмосфера этого кабинета определенно тюремные.

Хамелеон печально улыбнулся и покачал головой, находясь все еще под давлением своей мысли.

— Вы и не замечаете, что наши впечатления стали какими-то патологическими, — сказал он мне.

Я вздрогнул от его правдивых слов.

— Глядя на эту замечательную картину, кажется, что в

ней шевелится если не жизнь, то мысль, чувство, какая-то сверхъестественность. Вы этого не почувствовали, мой друг?

— На меня она также произвела очень сильное впечатление, — тихо ответил Хамелеон, — но вы немножко уже увлекаетесь. Ваши нервы, по-видимому, довольно сильно потрепаны. Надо взять себя в руки.

— Нет, дело не только в нервах, — настаивал я, — там что-то есть...

Хамелеон выпрямился и глаза его загорелись блеском.

— Есть-то есть, — воскликнул он, отвечая уже прямо на наши мысли, — но что? Вот это «что» меня и мучает.

— Не знаю, — сознался я и развел руками.

— Словно что-то завязло в темном уголку мозгов и нельзя его осветить, — сказал Хамелеон и встал. Он прошелся несколько раз по комнате, набил табаком и раскурил свою трубку, отчего воздух скоро стал сизым и, остановившись передо мной, проговорил нарочито громко:

— Ну, довольно бабничать! Как нам не стыдно! Перейдем к делу.

Тогда, как будто заразившись его бодростью, я также вскочил, готовый к действиям. Нравственная слабость сразу исчезла. Дальнейший ход наших операций был нам уже известен, хотя мы о них еще не говорили, но он диктовался обстоятельствами.

— Мы сегодня не раздеваемся и, чтобы не заснуть, выпьем кофе и станем играть в экарте, — сказал я.

## IX

Мы позвали слугу, попросили кофе и, как ни в чем не бывало, сели за карты. И временами, прихлебывая черную жидкость, мы обменивались короткими фразами по интересовавшему нас вопросу, но относились к нему уже спокойно и рассудительно.

— Какое торжествующее лицо было у пьяного Гагеншмидта, когда он ввел нас в свой кабинет.

- Безумие сквозило в его глазах.
- Он боялся, чтобы мы долго не оставались там.
- И как он зорко за нами следил!

Мы посмотрели друг на друга и не могли удержаться от смеха.

— А все-таки я ничего не понимаю, — сказал один из нас.

— И я тоже, — подтвердил другой.

Десятки партий экарте не утомили нас. Мы играли, когда уже пробило одиннадцать часов, затем двенадцать. После этого часа мы играли уже насторожившись. Фуражка Хамелеона лежала тут же на столе. И, наконец, около часа ночи мы вскочили в необыкновенном волнении, с одинаковым криком.

Внутри замка, недалеко от нас, слышался выстрел, глухой, но явственный, тот, которого мы ждали.

Наши действия были уже определены. Хамелеон схватил фуражку и, как стрела, бросился из комнаты. Я знал, что он побежал на деревню. Я также выбежал из комнаты, но пробежал ряд помещений и длинный коридор и стал бешено стучаться в дверь Гагеншмидта. Дверь быстро отворилась и на пороге появился Гагеншмидт. Его воспаленный взор был полон не то ужаса, не то ярости. Я оттолкнул его, вбежал в комнату и охватил ее взглядом. На столе лежал один браунинг. Я схватил его, заряды были не тронуты.

— Что вам надо? — наконец закричал Гагеншмидт. — Что вы хотите?

— Где ваш другой браунинг? — потребовал я. Во мне проснулся любитель борьбы с преступниками. Я чувствовал, что проявляю сильную энергию.

Гагеншмидт, по-видимому, невольно подчинился моему натиску. Он оторопел. Лишь я задал свой вопрос, как увидел другой браунинг в руках Гагеншмидта, и не успел он опомниться, как я вырвал у него револьвер. Тогда он отступил на шаг и проговорил:

— Что с вами, господин Лещинский? Я ничего не понимаю! Что случилось?

Выражение лица у него было такое, словно он меня толь-

ко что узнал. Я понял, что он овладел собою и хотел действовать разумно. Один его браунинг находился в моей руке, стол же с другим браунингом находился позади меня. Гагеншмидт был безоружен, но я сомневаюсь, чтобы у него было бы желание употребить против меня оружие. Я, в свою очередь, сдержал свой порыв. Опустив дуло браунинга, я увидел пустую гильзу и сказал, глядя Гагеншмидту пристально в глаза:

— Вы только что из него стреляли?

— Так что с того! — вскричал старик, гневно взглянув на меня. — Я могу у себя в квартире делать, что мне угодно. Может быть я вас разбудил? — спросил он иронически.

Я действовал скорее стихийно, стремился к чему-то бессознательно. Мысль моя даже мне подсказывала, что я увлекся, и настоящие мои действия неправильны и в интересах Гагеншмидта. Но я был подчинен своему инстинкту и смело заявил Гагеншмидту:

— Вы только что снова убили человека!

Старик словно обрадовался моим словам, как будто они принесли ему облегчение.

Его красные глаза насмешливо встретились с моими, он глубоко вздохнул и обратился ко мне, отчеканивая слова:

— Кого, где и когда? Я вас не понимаю и удивляюсь вам. Вы как мальчик! Что ж, ищите труп!

Он показал рукой на комнату. Вид у старика был уверенный, действия твердые. Мои же нервы и силы находились в очень напряженном состоянии, я шел наобум. Я потребовал:

— Покажите мне ваш кабинет!

Гагеншмидт взглянул на меня с большим удивлением, но не сразу мне ответил. Это обстоятельство меня несколько ободрило. Наконец он достал медленно из кармана ключи, направился к двери и отворил ее. Я взял со стола лампу, подал ему и сказал:

— Идите вперед!

Гагеншмидт беспрекословно повиновался. По-видимому, он желал быть корректным и этим меня обезоружить. Я снова очутился в уже знакомой мне обстановке, в комна-

те, где находилась в заключении картина. Почему-то моя впечатлительность не могла отделаться от такого фантастического определения. Пламя в лампе заколебалось, запрыгали вокруг тени и осветились блики на картине. Картина, казалось, шевелилась с ее толпой, лицами и глазами. Чувствовался запах недавнего выстрела. Я невольно осмотрелся, но сейчас же испугался, что стану в глазах хозяина смешным. Положение мое было тяжелое, безвыходное. Я был убежден, что стоящий передо мной старик только что убил человека, но не понимал, как он это сделал. Наоборот, я твердо знали, что при таких обстоятельствах он не мог никого убить, что я не имею никакого права его обвинять, что все обстоятельства стоят за Гагеншмидта и говорят против меня. В комнате не было ничего подозрительного, кроме запаха дыма.

— Ну что ж, вы успокоились? — словно ударил меня вопросом Гагеншмидт.

Я стоял перед ним, как мальчик, не зная, что ответить. Он, конечно, издевался над моей беспомощностью. Мы прекрасно друг друга понимали. Мы оба знали, что он убийца, но уличить его не было возможности. Это был убийца вне подозрений.

Вдруг со мной произошло что-то необыкновенное. Я отскочил к дверям в ужасе и в безграничном изумлении. То недоумение, которое мучило мой мозг с минуты первого посещения кабинета Гагеншмидта, теперь внезапно разъяснилось, и сильная дрожь потрясла мое тело. Мой вид даже Гагеншмидта удивил.

— Что с вами? — спросил он.

— Это вы, это вы! — прошептал я, указывая на фигуру Карла Гагеншмидта на картине. — Это вы?

Когда я первый раз глядел на картину, мне необыкновенно знакомым показалось лицо Карла Гагеншмидта, жившего двести лет тому назад, и весь вечер я страдал от старания вспомнить, где я видел это лицо, и, наконец, теперь эта загадка разъяснилась.

— Это мой предок Карл Гагеншмидт, — холодно и гордо ответил старик.

— Но это ваш портрет, это замечательное, сверхъестественное сходство, — твердил я, — неужели это возможно?

Гагеншмидт загадочно улыбнулся вместо ответа, взял меня за руку, вывел из кабинета и, когда мы снова были в его спальне, сказал, поставив лампу на стол:

— Чтобы дать разъяснение вашему недоумению, я вам покажу одну вещь.

Он обращался со мною совершенно свободно, словно между нами ничего не произошло, как человек, чувствующий свою силу и неуязвимость. Он порывлся в кипе бумаг на столе и, к моему удивлению, вытащил старый номер журнала «Нива». Сначала я предположил, что он шутит со мною, но, указывая на каких-то два рисунка, он сказал:

— Вот, прочтите это и вы все поймете.

Небольшая заметка сообщала о наблюдающемся странном явлении природы. Через известные промежутки времени потомки людей получают не только наследственные характеры, но и точные лица своих предков. Это явление доказывалось рядом примеров и обращало внимание читателя на две фотографии, отпечатанные рядом. На одной фотографии был изображен испанский король Альфонс XIII, а другая фотография была снята с какой-то старой медали, на которой был изображен дальний предок Альфонса XIII, также испанский король, живший за несколько сот лет до Альфонса XIII. Действительно, сходство было поразительное, словно на обеих фотографиях было изображено одно и тоже лицо.

Я с большим интересом прочел эту заметку и, хотя получил научное удовлетворение, но мое волнение от всего происшедшего мало улеглось. Я почувствовал себя сразу сильно утомленным, сделал вид, что совершенно успокоен журналом «Нива», извинился перед Гагеншмидтом и ушел, сопровождаемый его подозрительным и недружелюбным взглядом. Он понимал, что наша борьба еще не окончилась, но что я лишь подчиняюсь своему бессилию.

---

## Х

В глубоком раздумье я возвратился в свою комнату, чувствуя крайнюю необходимость в отдыхе. Но я с нетерпением ждал возвращения Хамелеона, сообщения которого должны были быть колоссальной важности. Когда он появился в комнате, я при виде его испугался.

— Что с вами? — воскликнул я.

Хамелеон был бледный, ослабевший, какой-то растерянный. Он сел на стул и устремил на меня испуганный взгляд.

— Липак убит? — задал я вопрос. Меня в эту минуту только это интересовало.

— Убит, — подтвердил Хамелеон, — убит!

— По обыкновению?

— По обыкновению.

Мы несколько минут в отчаянии смотрели друг другу в глаза.

— Но почему вы так расстроены? — поинтересовался я.  
— Ведь мы этого ожидали!

— Дело в том, — вздохнув, медленно начали Хамелеон, — что я... я понял, в чем дело с картиной...

Я смекнул, о чем он говорит.

— Вы узнали в Карле Гагеншмидте Германа Гагеншмидта. Я также только сейчас выяснил это изумительное явление, — проговорил я.

К моему удивлению, Хамелеон покачал головой.

— Нет, я не узнавал Гагеншмидта, — прерывающимся голосом ответил он.

Я почувствовал, как кровь стынет в моих жилах от дальнейших его слов.

— На картине нарисованы все убитые, все жертвы Германа Гагеншмидта, : Ярош, Абакум, Лешке, Пепке, Сакен, все, все. Ведь я их всех видел мертвыми и всех узнавал на картине. Они там, как живые, но я не мог все время вспомнить, где я видел этих людей, которые там нарисованы. Они казались мне необыкновенно знакомыми. И только сей-



час, когда я нашел на дороге труп Липака, я его узнал (он также есть на картине), и тогда я вспомнил всех.

Мы долго сидели без слов, без движения, в полном изнеможении. Наконец, Хамелеон обратился ко мне слабым голосом:

— Господин Лещинский, что это такое?

— Не знаю, я не могу постигнуть всего этого, — прошептал я.

— Но надо ведь что-нибудь делать. Ведь создается ужасное положение. Гагеншмидт убивает тьму людей. Необходимо ведь что-либо предпринять против обеих сторон.

— Я уже обдумал этот вопрос, — начал я. — Так как вы говорите, что завтра опять эти дураки предпримут что-то очень важное или просто будут подставлять себя под пули этого колдуна, то мы, игнорируя всю эту таинственность, прежде всего попробуем оградить этих несчастных заговорщиков от его дьявольских экспериментов, а затем донесем обо всем высшему начальству. Пусть оно поступает, как найдет нужным. Может быть, оно посадит нас в сумасшедший дом?!

— Что же вы предполагаете сделать? — спросил Хамелеон, слушавший меня очень внимательно и, по-видимому, вполне согласившийся с моим планом.

— Завтра надо непременно обезоружить Гагеншмидта, — заявил я твердо.

— Как это сделать?

— Сделаем! — решил я. — А теперь ляжем спать. Если мы даже не заснем от этой чертовщины, то хоть немного отдохнем.

Хамелеон больше меня не расспрашивал. Он мне доверял, и, пожав мне руку, пошатываясь от усталости, отправился в свою комнату.

На другой день, во время утреннего кофе, мы составили план действий. Весь день до вечера мы не показывались из моей комнаты, а после ужина мы послали человека к Гагеншмидту с просьбой принять нас. Через четверть часа мы сидели у сурового старика и беседовали с ним. Он, как и в первый раз, сидел у пылавшего камина и был пьян. Мы

спокойно заявили ему, что завтра мы от него уезжаем, что все наши наблюдения были ошибочны и что мы не в состоянии разобраться во всей этой истории.

— Мы потребуем от нашего начальства, — вдруг заявил я, — пытливо глядя в пьяное и красное лицо старика, — чтобы оно прежде всего забрало у вас эту картину.

Я знал, что говорю глупость, но хотел видеть, какое впечатление произведет это известие на Гагеншмидта. На него это подействовало, как удар грома, он вскочил в ужасе.

— Я ее не отдам, — закричал он, — вы не посмеете ее взять. Если я их выпущу отсюда, они меня убьют! — вырвалось у него.

Мы вскочили, вне себя от изумления.

— Что вы говорите, Гагеншмидт, кто вас убьет? Картина, нарисованные люди? Вы сошли сума!

Гагеншмидт весь затрясся от бешенства, он был ужасен. Он завопил:

— Негодяи! вы в заговоре с ними, из одной шайки! Я их не выпущу! Я не позволю вам их освободить!

— Опомнитесь, что вы говорите! — закричали мы.

Услышав эти слова, Гагеншмидт, видимо, переломил свой ужас и гнева и, закрыв лицо руками, они глухо зарыдал.

— Вы ничего не знаете! — воскликнул он наконец, отрывая руки от лица. — Вы ничего не понимаете! Вы хотите меня убить, вы помогаете моим врагам, которые не дают мне жить, мучают меня. Оставьте меня, умоляю вас, если вы верите в Бога, если у вас есть сердце и жалость, не отдавайте меня им.

— Но ведь пока вы убиваете всех! — закричал Хамелеон. — Вы убийца, дьявол, нечистая сила, сатана!

— Я уничтожаю выходцев с того света, привидений, покойников, — завопил старик в неимоверной ажитации. Лицо его побагровело, испещрилось фиолетовыми жилами, глаза, казалось, лопнут от напряжения, а шея вздулась, словно пузырь. Он был страшен. Мы не ожидали такого действия нашего плана.

— Слышите, я осаждаюсь мертвецами, — кричал старик, — которые снова явились в жизнь, чтобы отомстить мне. Но

я знаю, как с ними справляться. Ха, ха, ха! посмотрим, кто кого победит, посмотрим!.. Соберите хоть всех прокуроров, всю полицию, им ничего не поможет, я не дамся им легко в руки. Я не боюсь проклятий людей, я ничего не боюсь! Ищите кругом, ломайте голову! Я не боюсь вас, не боюсь, не боюсь, не боюсь...

Гагеншмидт сделал по направлению к нам несколько тяжелых шагов, зашатался и вдруг со стуком упал в страшном припадке на пол. Мы бросились к нему, но не в наших силах было удержать бившегося в судорогах эпилептика. Мы подняли тревогу. Сбежались слуги и, когда наконец больной несколько успокоился, его перенесли на постель, где он скоро погрузился в сон.

Крайне расстроенные происшедшей сценой, мы возвратились в мою комнату.

— Что, часто с хозяином случаются такие припадки? — спросил я старика-слугу, который принес нам кофе.

— Очень даже. Недели не проходит. Это для него обыкновенное дело!

Нагнувшись к нам, старик таинственно прибавил:

— Он, кажется, не в своем уме. Когда у него такие припадки наступают, он все насквозь видит, сквозь стены, как колдун!

— Я вас не понимаю, — сказал я, — расскажите подробнее.

— Э, пусть его, не стоит болтать! — вдруг словно спохватился старик.

И сколько мы его не упрашивали, он нам больше ничего не сказал интересного и даже старался к нам пореже входить.

После ужина мы сели играть в карты. Старик, унесший посуду, на наш вопрос о здоровье помещика произнес:

— Ничего! уже коньяк дует, скоро будет готов.

Сдавая первую партию, я спросил Хамелеона:

— Ну что, удачно вы справились с браунингами?

— Конечно, — ответил он. — Припадок явился очень кстати для того, чтобы их заменить. Теперь он может стрелять сколько угодно холостыми зарядами.

## XII

Мы чувствовали, что эта ночь будет критической, и чем дело ближе подвигалось к ней, наше волнение увеличивалось. Пробило полночь, затем половину первого и, наконец, час. Все было тихо. Но когда ударило половину второго, вдруг раздался глухой выстрел.

Мы вскочили и затаили дыхание. Когда послышался второй выстрел, нас охватило необыкновенное волнение. Мы выбежали вон из комнаты и увидели, что в замке уже идет тревога, растут крики, шум.

— Что такое? — бросились мы с вопросом к выбегавшим из своих комнат, проснувшимся и полураздетым испуганным слугам.

— Он кричит! Гагеншмидт кричит! — неслись со всех сторон возгласы ужаса.

Мы не могли себе представить, что могло произойти, и вместе с людьми, побежали к дверям спальни Гагеншмидта. Мы принялись стучать в дверь — оттуда уже никто не отвечал. Я видел, как Хамелеона трясет лихорадка.

— Надо ломать дверь! — закричал я вне себя. Я начал соображать, какое мы совершили преступление, но старался еще не верить ему. У меня подкашивались ноги.

Наконец, дверь спальни была выломана, но спальня была пуста. Тогда я первым вбежал в кабинет Гагеншмидта, за мной Хамелеон, офицеры и прислуга, и общий крик неимоверного ужаса вырвался из наших грудей.

Герман Гагеншмидт, совершенно нагой, лежал на полу; кругом валялись клочки его одежды. Безумный страх искривил лицо несчастного старика. Оно было темно-красного цвета. На груди Гагеншмидта зияла огромная огнестрельная рана, руки были выкручены и все тело было в кровоподтеках. Бедняга подвергся ужасным, бессмысленным истязаниям. Он был положительно истерзан: видно было, что убийцы в неистовстве набросились на свою жертву и яростно расправились с ним.

Если я был так же бледен, как Хамелеон, то значит, я

имел страшный вид. Мы смотрели друг на друга с видом участников совершенного злодейства. Мы боялись говорить друг с другом. Мы не ожидали того, что произошло.

Мы долго находились в кабинете Гагеншмидта, где лежал его труп, и следили за происходившим следствием.

Лишь когда начало светать, мы решили наконец оставить эту страшную комнату. Уходя при свете наступавшего дня, мы взглянули на картину и, потрясенные, долго не спускали с нее глаз.

Мы не узнавали ее. Вся ее яркость исчезла, в ней не было никакой силы, ничего замечательного. Краски словно слиняли, лица будто помертвели, погасло живое выражение лиц и глаз. Все потускнело, постарело, как будто покрылось пылью и временем. И только небольшие отверстия на фигурах крестьян объяснили нам, что это следы пуль, которыми убивал своих нарисованных врагов, членов «Руки мальчика», лежавший теперь перед нами мертвым Герман Гагеншмидт... И мы с испуганными изумлением стояли перед сверхъестественной тайной убийства Гагеншмидтом заговорщиков. Стреляя в их изображения на картине, он каким-то образом посылал им смерть сквозь стены и пространства, наперекор всем человеческим возможностям и понятиям...

Когда, понутив голову, в сознании своей вины, мы вышли из замка, в воздухе уже свободно разгуливал торжественный праздничный звон церковного колокола. На селе чувствовалось оживление, как будто наступил праздник, и до нас доносились ликующие крики, к которым мы боялись прислушиваться...

*Берлин, 1920 г.*

## ЕЛКА ДЛЯ МЕРТВЫХ

Семен Чаев, извозчик, работник содержателя биржи Сыромятова, проглотив последнюю ложку каши, встал из-за большого, уставленного горшками и большими глиняными чашками стола, обтер рукавом губы и стал широким размахом руки креститься на образ. Остальные три работника, дворник и кухарка Аксиныя продолжали сидеть. Они ели не спеша, так как у всех, за исключением бабы, рабочий день уже окончился, и им, кроме еды, нечего было более делать. У всех лица были довольные вследствие того, что все перед ужином хорошо попарились в бане, и всем было тепло и уютно в кухне с огромной жаркой печью, горшками, лавками и всякою кухонною рухлядью. Кроме того, они чувствовали удовольствие от сознания того, что им в сочельник можно не покидать кухни и после сытного ужина лечь или на печь, или на лавки и спокойно спать до утра, когда все оденутся во все новое и пойдут в церковь. Одному только Чаеву не посчастливилось в сочельник провести ночь в тепле. Его очередь была ехать на промысел, и он сумрачно стал обвертывать ноги тряпками и вкладывать их в валенки, поглядывая задумчиво на окно, за которым бесновалась буря. Порывы сильного ветра ясно слышались, от них дрожали стекла и, казалось, ветер употребляет все усилия, чтобы ворваться в кухню.

— Что, небось, неохота ехать в такую ночь? — спросил старый работник Алексей, чувствуя в то же время удовольствие от того, что приходится ехать не ему, а Чаеву.

— Тоже спрашиваешь, — ответила за Чаева Аксиныя, — в такую погоду и собаку жалко на двор выпустить. Ежели бы меня резали, то не поехала б теперь.

— На то ты баба, чтоб бояться, — сказал Алексей, желая после ужина подразнить ее,

— Да, баба! ты вот послушай, словно черти завывают; здесь и то страшно, — проговорила Аксиныя, крестясь, — и далась же такая ночь под Рождество.

— Это не черти, а покойники, — лукаво ухмыляясь, сказал Алексей.

Аксинья со страхом на него посмотрела.

— Ну уж и покойники? — недоверчиво сказала она.

— Не верит, дура, — полусерьезно воскликнул старый извозчик, — пусть ребята скажут.

Алексей посмотрел на извозчиков, которые поняли его и один за другим сказали: «Верно, верно, покойники...»

В трубе сначала загудел, а затем так жалобно завыл ветер, что суеверная Аксинья слегка побледнела.

— И впрямь, словно покойники, — прошептала она.

— Эх, баба, разве ты слышала, как покойники воют, — засмеялся Алексей, положив ложку и придвинувшись в угол.

— Смейся, смейся, — сконфузившись и слегка обидевшись, сказала Аксинья, которая уже уверовала в то, что покойники ходят по белому свету и пугают людей. — Вот соседка сын, что намерен повесился, наверное, бродит около дома; под Рождество им разрешается.

Семен, уже натянувший сверх овчинного тулупа синий извозчиный армяк, так что из-за поднятого воротника виднелись только его нос и глаза, при напоминании о повесившемся сыне соседнего домовладельца повернулся к Аксинье и не то с тревогой, не то с недоверием сказал:

— Неужто будет бродить?

Дело в том, что на Семена произвело сильное впечатление известие о самоубийстве молодого человека, которого, впрочем, он не знал и никогда не видел. Но случай этот вообще наделал много шума в околотке, потому что приходила полиция, сам пристав, доктор, писали протокол и многих допрашивали. Когда же Семену, парню впечатлительному и, как большинство крестьян, суеверному, рассказывали о самоубийце, о том, как он лежал с высунутым языком, извозчик чувствовал страх и волнение. К тому же, он сам за день лишь до этого случая, жалуясь на свою горькую долю, воскликнул за ужином: «Один конец мне остается: петлю на шею надеть — и шабаш!» Горькая доля парня заключалась в том, что в последнее время хозяин покрикивал на него за то, что он привозил малую выручку,

которая расхода не оправдывала, и он боялся остаться без работы; затем мать писала, чтобы он прислал денег заплатить подати, не то избу продадут, и он отослал последние двенадцать рублей. Вследствие этого, на праздник он остался без новых сапог и рубахи и без денег на выпивку. Весь день Семен невольно думал о покойнике, который почему-то в его воображении представлялся молодым человеком с русой бородкой. Он еще до ужина трусил и даже не хотел вечером выходить в сарай лошадь запрягать и попросил другого работника. Трусость не оставляла его и тогда, когда он одевался, причем боялся он совершенно бессознательно. Но когда Аксинья упомянула о том, что самоубийца бродит около дома, она Семену словно глаза открыла; он не выдержал, чтобы не спросить ее:

— Неужто будет бродить?

— А то как же, — увлекаясь, подтвердила убежденно Аксинья, — ведь сам себя жизни решил, а такому ни креста, ни покаяния. Нельзя ему не бродить, да еще под Рождество...

— Вот тебе и штука, — прошептал Семен, — а мне ехать надобно...

— Эх, ты, — укоризненно обратился к нему Алексей, — а еще парень, боишься, словно баба. Он, прежде всего, в полночь выходит, а теперь девять часов. Не бойся, поезжай, а то ты и так опоздал.

Алексей не хотел разубеждать парня в том, что мертвец не встают, а старался только успокоить его. Неизвестно, удалось ли ему это, но Семен натянул на глаза шапку и, ни слова не говоря, решительно вышел. Лошадь стояла под навесом уже запряженная и, по-видимому, ожидание надоело ей, так как при появлении извозчика она задвигала ушами и замахала хвостом, желая, должно быть, выразить этим свое удовольствие. Семен вывел ее за ворота, затем сел на облучок, поместил удобнее ноги в ворохе соломы на дне санок и тогда лишь чмокнул и тронул вожжами. Лошадка поплелась вперед, с трудом таща санки по глубокому свежему снегу. Метель продолжала бушевать, снежные вихри с воем и свистом носились в воздухе, бешено кружась во-



крут извозчика. Впереди ничего не было видно, только мелькал свет от фонарей, мимо которых проезжал Семен. Изредка сквозь тучи прорывался свет луны, и извозчику на мгновение бросались в глаза дома с убеленными крышами, телеграфные столбы, боровшийся с бурей пешеход и такой же, как Семен, ночной извозчик.

Семену было тепло; на нем поверх широкого овчинного тулупа напялен был теплый армяк, повязанный крепким поясом, затем огромная, закрывавшая уши шапка и валенки, и извозчик сидел, словно упакованный. Уселся он удобно, коленями прижался к стенке саней, и ему даже трудно было повернуться. Он, держа вожжи, только двигал кистями рук, облаченными в теплые, не пропускавшие холода рукавицы, и никаких других движений не делал. Лишь беспокоил его ветер, залеплявший ему глаза снегом, и Семен вследствие этого сидел с закрытыми глазами, иногда раскрывая их, чтобы вяло взглянуть в ничего не показывавшую темноту. Его клонило ко сну после сытного ужина, и в полудремоте он думал о доме, о том, что теперь сочельник, что следует завтра попросить у хозяина денег в надежде, что он по случаю праздника уважит его просьбу. Но, думая обо всем этом, Семен в то же время не переставал размышлять о повесившемся сыне соседнего домохозяина, которого он никогда не видел, но который так и стоял у него пред глазами, как живой. В особенности покойник живо представлялся его воображению, когда Семен закрывал глаза. Слова Аксиньи о том, что покойник будет непременно в эту рождественскую ночь бродить, не выходили у него из головы; лишение самоубийцы креста и покаяния возбуждало у него жалость к покойнику, он представлялся ему с страдальческим выражением лица, словно жаловался. Но вместе с тем непрерывное размышление о покойнике наполняло его душу неопределенным и смутным страхом, который усугублялся вследствие глубокой темноты и отсутствия всяких живых звуков вокруг него, за исключением то яростных, то жалобных завываний ветра. Подчиняясь размышлениям, страху и дремоте, Семен все больше ежился в своем тулупе и руки его реже двигали вожжами. Когда же

лошадка по собственной инициативе, наконец, остановилась у ворот какого-то здания, темный и мрачный силуэт которого неопределенно вырисовывался в темноте, Семен, хотя раскрывал глаза, но совершенно не подумал о том, что нужно ехать дальше и даже совершенно забыл о лошадке и о том, что у него на руках висят вожжи...

— Извозчик, свободен? — услышал Семен тихий голос, проговоривший у самых саней. Луна выглянула из-за туч и осветила зимний пейзаж и молодого человека, вопросительно смотревшего в глаза Семену. Несмотря на то, что была ночь, Семен ясно разглядел нанимавшего его седока. Он видел бледное с русой бородкой лицо, подернутое грустью, видел, что на седоке нет шубы и шапки. Но извозчика это обстоятельство не удивило, словно оно было вполне естественно.

— Пожалуйте! — сказал лишь Семен, по обыкновению всех извозчиков, и не успел он проговорить это слова, как молодой человек уже сидел в санях позади его.

— Поезжай, ради Бога, куда-нибудь, вези меня! — жалобным голосом проговорил седок. Ничуть не изумленный странностью пассажира, Семен дернул вожжами, и лошадка легкой рысцой потащила сани по скрипучему снегу.

Злитесь вьюга, носит и кружит тучи снега, воем и шумит ветер, и сквозь свист метели слышит Семен тяжелые вздохи, которые то замирают, то усиливаются. И слышит Семен, что это вздыхает и стонет молодой седок, сидящий неподвижно за его спиной. Слушает Семен, как вздыхает седок, и грустнее и печальнее делается ему; прямо в душу проникают ему печальные вздохи: столько в них смертельной тоски и грусти. Чувствует Семен, как душа у него замирает от жалости к бедному седоку, чувствует, что в горле у него сдавливает от подступающих слез. А седок все вздыхает и стонет, все вздыхает и стонет, и стоны его, смешиваясь со свистом и ревом бури, уносятся метелью.

Душа на части разрывается у Семена от этого выражения тоски, печали и безысходного горя; не может он слушать без слез страдающего седока, чувствует он всем существом своим, что сильно мучается бедняга, и хочется ему

утешить его, помочь несчастному. Не мог превозмочь себя извозчик.

— Барин, барин, — говорит он ему, — чего вздыхаешь, чего плачешь, какая грусть-тоска съедает тебя, кто обидел тебя, кто мучает? Не разрывай ты сердца мне своей горестью-печалью!

Сквозь рев и свист метели слышит Семен нежный и слабый голос:

— Ах, Семен, Семен, тяжело мне, ох, тяжело, и конца моему горю не предвидится.

Не удивился Семен, что седок его прямо по имени называет, а начал просить несчастного:

— Скажи мне, барин, поведай свое горе, может быть, помогу чем, а то слышать тебя я не могу, душа на части разрывается. Скажи...

— Пропала жизнь моя горемычная, — плачет седок, — не будет спокойствия душе моей на веки вечные... что я сделал, за что душу свою погубил?..

Застонал седок, зарыдал Семен, не выдержал. Долго едут они, а Семен все плачет, не может слышать, как горюет за его спиной молодой человек. Плачет Семен и все спрашивает у своего горемычного спутника:

— Неужели нельзя твоему горю помочь, успокоить тебя? — а сам чувствует, что у седока не простое человеческое горе.

— Все я потерял, Семен, со всеми все порвал, и с жизнью, и с отцом, с братьями и сестрами, не будет кому оплакать обо мне, помолиться за меня, добром меня вспомнить, крест надо мной поставить. Отец обидел меня, насмеялся надо мной, невесту мою любимую мачехой моей сделал. Променила она меня на старого, на богатство отцовское польстилась. Лучше бы он мне нож в сердце вогнал, чем, благословивши меня, невесту мою отнял. И большой грех сотворил я, на старика-отца руку поднял. Радуются теперь все: отец мой, потому что избавился от непокорного сына, а братья и сестры, которые из-за наследства отцу угождают, на меня войной пошли, теперь мою часть получают. Проклял меня отец, и нет мне больше места на этом

свете. Семен, — взмолился седок, — один ты пожалел меня, помоги же ты мне, горемычному, и благословит тебя Господь, который один у несчастных заступник. Один Он ведает, что не мог я жить, на свой позор глядячи, не мог муки сердца вынести. словно огнем меня сжигало, когда я на отца с моей невестой-мачехой смотрел. Не пожалел он меня; со двора гнать стал, счастьем я его мешал... И ушел я, навсегда ушел... Со злобой, которая грызла меня, и сердцем-любовью я покончил, да только жаль мне ее, мачеху мою, сильно она терзается, что от меня отказалась. Хотя крепко ее в руки взял отец мой, да только волю ее он покорил, а сердца не мог... И страдает она, бедная, судьбе покорившись, в ногах у меня валялась, прощения просила. Но не простил я ее, хотя пуще жизни любил, ногой оттолкнул ее и в глаза плюнул. Не ведал я, Семен, не подумал о том, что не волен человек в своей судьбе, — ум потерял. Семен, возьми ты с моего пальца кольцо и пойди ты утром к моей мачехе. Кланяйся ей, поздравь с праздником и скажи, что пасынок посылает ей кольцо, которое она ему подарила в саду, когда в вечной любви клялась. Как ты это ей скажешь, она тебе поверит, потому никто до сих пор, кроме меня да нее, об этом кольце не знает. Скажи ей, что я ей все прощаю и возвращаю в знак прощения кольцо. Пусть она и меня простит за обиды, за скверные слова, — любовь моя это сделала. Да скажи ей, что я просил ее молиться за меня, грешного, и не лишать меня креста и отпевания, а то всю жизнь я бродить буду. Поклянись мне, Семен, что делаешь, как я тебя прошу.

— Вот тебе святой крест, что исполню твою просьбу! — воскликнул извозчик, круто поворотившись к своему седоку... и очутился в снегу около саней. Побарахтавшись несколько времени, Семен, ничего не соображая в первый момент, с трудом, вследствие тяжести напаяленного на нем платья, встал на ноги и с изумлением осмотрелся вокруг себя. Выезд его стоял у тех же ворот мрачного дома, у которого он взял седока; лошадка, полузасыпанная снегом, стояла, понуря голову. Семен не обратил внимания на то обстоятельство, что он упал, — он не понимал только, куда

исчез его седок. Страстная и печальная мольба несчастного еще звучала в ушах извозчика, который, благодаря отсутствию резкой перемены в обстановке, не усвоил спростня, что он внезапно перешел от сна к бодрствованию. К тому же, впечатление от жалоб и горести седока, от его рассказа не исчезло, а наоборот, в полной силе жило в душе и уме извозчика. Стоя около своих саней посреди ревущей метели, извозчик был обуреваем разнородными чувствами. С одной стороны, он был полон стремления исполнить просьбу седока, считая это необходимым, а с другой — у него сквозила чисто извозничья мысль о том, что седок ездил, ездил и вдруг скрылся, не заплатив за езду. Но тут же Семен, не допуская ничего сверхъестественного, сообщал, что он не видел ухода седока потому, что упал, когда остановились сани, и что, по всей вероятности, седок ушел в ворота, перед которыми остановился его выезд.

— Надо позвонить, — сказал Семен. Пробравшись по глубокому свежему снегу к воротам, он отыскал висевшую у ворот толстую проволоку с ручкой и несколько раз дернул. Среди завываний ветра слышалось три глухих удара колокола. Но, так как никто не отзывался, то Семен, обождав немного, стал опять дергать чаще и чаще. Глухие, сначала робкие, а затем более сильные удары колокола проносились в пространстве, словно печальный погребальный звон, который в поздний полночный час, среди крошечной тьмы и бесновавшейся бури, отзывался холодом в душе и так невесело настроенного извозчика. Ему сделалось жутко. Семени стал охватывать страх. Он хотел было уже возвратиться к своим саням, но в этот момент слышался скрип и шум отворяемой недалеко двери и извозчик несколько ободрился. Затем слышно было, как кто-то пробирается с ругательствами по снегу, и скоро у ворот раздался хриплый сердитый голос:

— Кто это раззвонился, кого еще нечистая сила в такую ночь принесла?!

— Отвори, дяденька, — робко попросил Семен.

— Висельника, что ли, привезли? — говорил бряцавший ключами и засовами человек. — Ни праздника, ни непого-

ды на вас нет, проклятых, не могли до утра обождать, фараоны чертовы!..

Тяжелая калитка отворилась, и в ней с тусклым фонарем в руках показалась фигура человека с наброшенным на плечи тулупом. Слабый свет от фонаря освещал широкое лицо, заросшее рыжей поседелой бородой и мрачно нависшими над глазами бровями.

— Чего тебе? — спросил человек с фонарем, по-видимому, удивленный, что увидел, вместо ожидаемых полицейских, простого извозчика.

— Тут, дяденька, седок мой вошел, за езду не заплатил, найди хочу его, — проговорил Семен.

Лицо человека с фонарем выразило еще большее удивление, и вместе с тем брови его еще теснее сжались.

— Пьян ты, брат, что ли? — спросил он сердито, собираясь затворить калитку. — Ишь где седока нашел искать; ступай себе своей дорогой, дурило проклятое, только беспокоишь, не разобравши.

— Да ей-Богу, дяденька, он вошел сюда, — воскликнул Семен, хватаясь рукой за калитку, — пусти поискать, а то помилуй, всю ночь ездил и не заплатил; что я хозяину скажу, пойми!

Сторож даже отступил <на> шаг назад.

— Да ты с ума спятил, — крикнул он, — какие тебе здесь седоки, никого здесь нет. Ступай подобру-поздорову, говорю тебе...

Но Семен не унимался; какая-то сила заставляла его стремиться вовнутрь этой мрачной усадьбы, и он продолжал еще сильнее умолять угрюмого сторожа.

— Да пусти, дяденька, что тебе стоит, я ненадолго, а то ведь пропащие деньги... пусти, прошу.

Тут сторож пристально посмотрел в лицо извозчику, усмехнулся, и по лицу его разлилась загадочная улыбка.

— Ну что ж, — проговорил он, — коли ты так добиваешься, иди — Бог с тобой. — И извозчик видел, как сторож, закрывая за ним калитку, тихо смеялся. — Пойдем, — сказал сторож, освещая путь фонарем, — смотри, не свались... сюда, сюда...

Они добрались до каких-то ступенек и вошли в коридор с асфальтовым полом. Свет от фонаря слабо освещал лишь часть коридора. Шаги извозчика и его путевого проводителя глухо отдавались эхом в конце коридора, тонувшего во мраке. Извозчик прошел несколько дверей и, наконец, остановился со сторожем у двери, сквозь которую проникал свет. Здесь сторож погасил свечу в фонаре, поставил фонарь в угол, сбросил на него свой тулуп и тогда растворил дверь, из которой хлынул свет в коридор. — Ступай! — сказал он с прежней загадочной улыбкой на лице, глядя своими пронизывающими серыми глазами в глаза извозчику. Семен переступил порог и остановился у дверей. Внезапный переход из крошечной тьмы в освещенное помещение подействовал на его зрение, и он в первый момент не в состоянии был ничего различить, за исключением светящихся точек, которые запрыгали у него в глазах. Вместе с тем, его охватил сразу сильный резкий запах, ударивший по его обонянию с такой силой, что у извозчика закружилась голова. Он не мог отдать себе отчета, что это за запах, но по этому запаху невольно вспомнил покойного дворника Ивана, который умер скоропостижно, и что в комнате, где он лежал, носился такой же запах.

Через несколько минут Семен оправился, стал оглядываться вокруг и то, что он увидел, на первый взгляд изумило его. Он стоял у дверей огромной глубокой мрачной залы, окрашенной серой краской. Посреди залы стояли столбы, а у стен около окон ряд возвышений наподобие столов, обитых цинком. Ближайшие к нему столы были пусты, но в конце залы они были чем-то заняты, но чем именно, Семен не видел. Он вообще с трудом различал предметы, так как несколько растерялся от неожиданной обстановки, представившейся его глазам. Он с каким-то смутным беспокойством устремил взор в другой, отдаленный от него конец залы, остановив свое внимание на огромной елке, сиявшей огнями.

Елка была воткнута в отверстие, проделанное в большом грубообразном ящике, который служил ей подножием, и стройно тянулась к потолку. По ее веткам была разбро-

сана масса зажженных свечей, и издали казалось, что она усыпана звездочками. Огни свечей трепетали от колебаний воздуха, и вокруг елки, на полу, стенах, потолке и столах дрожали и бегали мрачные тени, словно боровшиеся со светом ее огней.

— Ну, чего остановился, — сказал сторож, с любопытством и зорко наблюдавший за Семеном, который вздрогнул от его голоса, гулко пронесшегося по зале. — Не стесняйся, будь гостем, — иронически продолжал сторож, — будем все сочельник справлять.

Он взял извозчика за руку и с холодной, ужасной улыбкой на лице повел его в глубь залы. Семен машинально шел за ним, и душа его замирала от этой странной, несмотря на елку, мрачной обстановки и тяжелого гнетущего запаха разлагающихся трупов. Как вдруг, не доходя нескольких шагов до елки, Семен быстро вырвался от сторожа и отскочил в сторону. Лицо его побледнело, глаза широко раскрылись и с ужасом устремились на предмет, лежавший на цинковом столе. Перед ним лежал, вытянувшись, труп девочки, белое спокойное лицо которой рельефно выделялось на фоне окружавших ее темных лохмотьев.

— Чего испугался? — хихикнул сторож. — Не бойсь, не съест; ты живых бойся, а мертвые ничего, мертвые зла не делают.

Но ужас не оставлял Семена; он сковывал его члены, и извозчик стоял, словно пригвожденный к полу. Его взгляд упал на другие ближайšie столы, и везде на цинковых поверхностях он видел трупы. Некоторые были накрыты рогожами, но Семен чувствовал и сознавал, что под ними скрываются покойники. Извозчик видел стариков и молодых, мужчин, женщин и детей, то со спокойными бледными лицами, то с почерневшими и искривленными ужасными улыбками смерти.

Состояние извозчика, по-видимому, привело в восторг сторожа. Он оживился, глаза его заблестели неестественным огнем.

— Что дивишься?! — хрипло закричал он, подойдя вплотную к извозчику, на которого пахнуло водкой, — дивишь-



ся? не видел столько, а? а я пятнадцать лет с ними живу, с покойниками. Никого у меня нет, кроме них, покойников. Каждый день мне их доставляют, несчастненьких. Ты вот удивишься и боишься, а все потому, что ты глуп. С ними, брат, только и жить можно. Посмотри! — воскликнул горячо безумный сторож. Отскочив от бледного, стоявшего как столб извозчика, он остановился пред елкой и энергичным жестом указал на ряды вытянувшихся пред ним трупов.

— Посмотри, брат, сколько их к празднику собралось, никогда так много не бывает, как на Рождество; так их и тащат «фараоны», так и тащат — все ко мне на елку. Каждый год я им ее устраиваю; для меня праздник и для них, и сегодня впервые ты живой гость на ней. Выпьем, брат!

Сторож подскочил к одному из столов, где у ног трупа стояла бутылка с водкой и чайный стакан. Он быстро наполнил полстакана и протянул Семену. Но тот стоял неподвижно, пораженный ужасом, не будучи в состоянии собраться с мыслями.

— Не хочешь, удивишься'? Ну и не надо. А вас с праздником! — проговорил сторож и, отведя стакан от своего гостя, протянул его по направлению к трупам. Затем он медленно опорожнил его и несколько мгновений, не выпуская из руки стакана, стоял в глубокой задумчивости.

Ветер бил по стеклам, от его напора скрипели рамы, гул носился по зале и, казалось, трупы вздрагивают от хаоса, производимого бурей на дворе.

— Эх, брат, плохой ты гость, — начал заплетающимся языком сторож, — испугался, компании не поддерживаешь нам. Ты не бойся, а пожалей их, узнай их, как я их знаю. Все они за праздником гонялись и сюда попали. Весь год терпели, а как праздник пришел, им и конец. Вот, гляди, девочка эта, — видишь?

Сумасшедший, пошатываясь, подошел к столу, на котором лежал труп девочки, взял ее за руку и продолжал, причем в голосе его послышалась нежность:

— Каждый год, на каждую елку ее ко мне доставляют. Без нее нет у меня елки, потому, что за елка без детей! После завтра ее студенты порежут, порежут! — сторож безумно

засмеялся, — а на следующий год ее опять ко мне приволокут, ей Богу! Уж я так и знаю; как сочельник — так и девочка. Весь год, всю зиму она в своем подвале или где-нибудь в другом месте сидит, жметесь от холода и голода, но терпит. Но как сочельник, так ей невтерпеж, — она на свет Божий вылезает, отца, мать больных или так кого-нибудь бросает, о голоде забывает и выходит на мороз. Это она, брат, за елкой пошла. И вот бредет она до первого окна, за которым елка красуется и дети играют, — и тут ей конец, не может оторваться, тянет ее елка, привораживает... мечтать начинает, забывает все, радость ее охватывает, и ни мороз, ни выюга ее не прогонят оттуда. И вот батюшка-мороз ее в мечтаниях несбыточных и убаюкает, затем снежным одеяльцем прикроет, и так она лежит, покойная, до «фараона». А как наткнется на нее «фараон», то сейчас ко мне тащит на сохранение и смеется: «Всегда за окном, — говорит, — с одной стороны елка, а с другой девочка». Он, «фараон», глуп, потому человека не понимает, а я его понимаю. И скажи ты мне теперь, как же можно ее с елки да сюда в темноту бросать? И чтобы мечты ее оправдать, — на тебе настоящую елку, милая, такой при жизни тебе не видать бы.

Сторож нежно провел рукою по головке замерзшей девочки, несколько раз одобрительно кивнул головой и, подойдя затем к своей бутылке, налил снова полстакана, выпил и ударил себя кулаком в грудь.

— Радость я чувствую, когда им праздник устраиваю, потому знаю, никто им того не дал, что я им даю. А ты думаешь, ей не приятна елка? — воскликнул сторож, переходя быстро к следующему столу, на котором лежал труп молодой женщины. — Она из дому убежала, детского голодного плача вынести не могла, потому дитя малое долго терпит, а как Рождество, плакать начинает. Пошла она из дому, пообещавши своим деткам елку, хлеба и гостинцев принести, и они, глупые, смеяться начали. А она пошла да с моста бросилась. Потому скажи ты мне, как же ей можно без елки и гостинцев к ним явиться? Никак нельзя, ну и порешила с собой, заспокоилась. А это, это, это...

Сторож в безумном экстазе стал перебегать от трупа к трупу и, хлопая по ним рукой, говорил:

— Тут у меня все есть: этот с горя, что на праздник денег нет, напился так, что Богу душу отдал; вон тот детей и жену, голодных и плачущих, захотел резать, — да его не пустили и он себя прикончил; того в темном углу бедные какие-то люди поймали и придушили, и деньги отняли — потому они тоже христиане, им надобно же праздник справить, а без денег нельзя. И каждого, брат, я знаю: как посмотрю на него, так мне вся судьба его известна...

Маньяк схватил начавшего несколько приходить в себя, трепещущего извозчика за руку и стал тащить его за собой от трупа к трупу. С закрытых он грубо сдергивал рогожи, и бедному извозчику открывались все новые лица покойников. Ему казалось, что они все поворотили к нему лица и смотрят на него, вот-вот заговорят... «Пусти, пусти», — в страхе шептал он, но безумец вел его, крепко сжимая его руку своими сильными пальцами. Как вдруг дикий, нечеловеческий вопль огласил залу, так что безумный сторож от неожиданности растерялся.

Крик этот вырвался из груди Семена, который быстро отскочил в сторону, и лицо его исказилось невероятным ужасом. Прислонившись к столбу, он протянул руки вперед, словно боясь допустить к себе страшное видение, не спуская в то же время полных безумного страха глаз с трупа, с которого сторож только что сдернул рогожу.

— Что с тобой? — воскликнул невероятно изумленный сторож.

— Он... он... — шептал страшно потрясенный Семен, дрожа, как в лихорадке, и стуча от ужаса зубами...

— Кто «он»? — не понимал сторож.

— Он... он... мой седок .. — едва внятно проговорил почти обезумевший от неожиданной встречи извозчик.

Сторож широко раскрыл глаза... «Вон оно как!» — пробормотал он и устремил взор на труп молодого человека с русой бородкой, лежавший без шапки и пальто на столе. На лице покойного застыло выражение глубокой скорби, — выражение, глубоко запечатлевшееся в душе извозчика

во время его ночной поездки с молодым человеком.

— Так, значит, твой седок? Скажи, пожалуйста, какое дело. Тебе, значит, являлся, ездил — это, брат, даром, у него цель была, нужда в тебе. Ты, брат, успокойся, чего дрожишь? — сказал сторож, подойдя участливо к Семену.

Положив руку на плечо извозчика, он тихо продолжал:

— Ты не пугайся, это бывает, что покойник бродит, без дела он не пойдет, должно быть, мучает его что-нибудь. Расскажи, не бойся, как он к тебе являлся.

Спокойный и участливый голос сторожа повлиял на Семена. Весь трепеща, извозчик прерывающимся голосом стал рассказывать ему коротко о ночной езде с ним покойного и о данной ему клятве исполнить его просьбу.

— Да, — задумчиво проговорил сторож и, подойдя к трупу, стал внимательно смотреть ему в лицо, -- я так и знал, что из-за бабы ты жизнь бросил, по тебе видно было. Вот видишь, — обратился он к извозчику, — ты с ним побеседовал, об одном горе узнал и дрожишь. А я, брат, почти каждую ночь с ними беседую. Как лягу я, лампу потушу, так кто-нибудь из них и приходит ко мне и все рассказывает, все рассказывает. Кажется, наговориться не может, горе свое докладывает, потому при жизни ему не было с кем поделиться. И если бы ты побеседовал с ними, сколько я, тогда бы ты только знал, сколько горя на свете есть, тогда бы только знал, как мучается иногда человек, что его съедает. Что для одного пустяк, для другого вся жизнь. Все говорят мне, потому я каждому сочувствую. И к тебе он пришел потому, что, должно быть, и ты ему посочувствовал. Тяжело ему, видишь, а когда душе тяжело, она ходит по свету и сочувствия ищет, особенно если ей покаяния не полагается. Ты говоришь, кольцо должно быть, — посмотрим.

Сторож взял Семена за руку и подвел к трупу. Хотя страх не оставлял извозчика, но Семен стал поддаваться убеждениям сторожа. Последний поднял руку покойника, и в глаза ему сразу бросился золотой ободок, блестящий вокруг пальца несчастного. Сторож, довольный, усмехнулся, а Семен весь затрепетал от овладевшего им волнения.

— Есть,— проговорил сторож, — давай-ка сюда, — и он стал стягивать кольцо с пальца. — Вишь, как легко снялось, — сказал старик, — сам отдает. На тебе, брат, кольцо, — продолжал он, отдавая кольцо Семену, — и неси его зазнобушке, пусть он и она успокоится. Не судьба была им на земле соединиться, на том свете встретятся. Иди, брат, себе с Богом, иди, а то елка догорает, и мне на отдых пора, не то что им...

Сторож кивнул на покойников.

Действительно в зале темнело, на елке догорали, треща, последние свечи. «Надень кольцо на палец», — сказал сторож, и Семен машинально повиновался ему.

— Идем скорей, а то в темноте останемся, — воскликнул старик, — слышишь — трещат.

Семен бросился к дверям, его снова охватил панический страх. В зале вдруг наступила мгла, сопровождаемая последним треском свечей; ветер с невероятной силой рванулся в окна, а затем уныло и вместе страшно завыл. Извозчик в ужасе растерялся, остановился, затем рванулся снова вперед, наткнулся на столб и, похолодев весь, отскочил в сторону в невероятном страхе... «Куда ты?» — пронесся по зале крик, и Семен попал в чьи-то объятия. Вырвавшись из них, он в безумном ужасе хотел бежать, но не мог, хотел крикнуть, — голос не шел из его горла и, не выдержав всех ужасов прошедшей ночи, Семен, как сноп, упал без чувств на асфальтовый пол.

— Ишь ты! — покачивая головой, проговорил укоризненно сторож, зажигая спичку, — упал-таки, покойников боится. И чего их бояться, — продолжал он, взваливая к себе на спину бесчувственного извозчика. — Пожил бы с мое, тогда плевал бы на смерть, — рассуждал старик, неся Семена к воротам, — покойник самый благородный человек, он никому зла не делает, не то что мы, грешные...

Он положил Семена в его сани и ударил несколько раз ладонью по спине лошадку, которая медленно тронулась вперед, таща сани с Семеном по знакомой дороге к дому в чайнии теплой конюшни и овса.

На первый день Рождества, в полдень, Семен, бледный,

но торжественный сидел в кухне и рассказывал окружающим его работникам, дворнику и кухарке Аксинье свои ужасные приключения прошедшей ночи. Все слушали его с суевренным страхом, но вместе с тем с глубоким интересом. Они все с уважением смотрели на рассказчика, который закончил свою повесть так:

— И когда я ей, жене соседнего хозяина, доложил все и преподнес кольцо, право, не могу сказать, что с ней стало. Словно помешалась. Заплакала, зарыдала, стала волосы на себе рвать, кольцо целовать, перекрестилась на образ, «в монастырь, — говорит, — пойду». И пойдет! — уверенно закончил Семен. — А мне на прощанье вынесла двадцать пять целковых и низко поклонилась...

— Теперь бы следовало панихиду по нем отслужить, — проговорила Аксинья.

— Ну, вот еще, разве можно без панихиды, непременно отслужу! — сказал Семен...

## СОВЕСТЬ СТОРОЖА ВАРФОЛОМЕЯ

### I

В сочельник увезли последний труп и в старом анатомическом театре, предназначенном к сломке, остался лишь сторож Варфоломей...

Старик слонялся весь день по опустелому помещению и одиночество нагнало на него тоску. Ему стало скучно по трупам, которые, давая жизнь этому учреждению, создавали Варфоломею обычную заботу, требовали его внимания и труда...

Аромат мертвецкой еще стоял в полной силе не только в залах с обитыми цинками столами, но и во всех закоулках этого дома. Кой-где еще валялся неубранный обломок черепа, в углу в корзине белела груда человеческих костей, на окнах виднелись банки с обрывками каких-то человеческих внутренностей, со столов сползали грязные рогожи и брезенты, — и все эти остатки еще усугубляли грусть старого сторожа...

И когда стало смеркаться, Варфоломею впервые стало страшно в этом доме, лишенном трупов и смерти, к которым он привык. Мрачный, огромный зал пугал и давил его своей пустотой, ему вдруг стали чудиться трупы во всех углах, очертания тел на столах рождались его воображением, и сознание, что эти трупы не могут теперь быть здесь, заражало его страхом и дрожью...

И, покинув поспешно зал, старик стал быстро и тщательно затворять попутно все двери на замки и засовы, инстинктивно боясь чего-то, пока, наконец, не добрался до своей сторожки.

Подавленный непонятным состоянием, старый сторож старательно запер сторожку, затем плотно завесил окно и тогда лишь, утомленный, опустился на сооружение из ящиков и досок с кучей всякого хлама, служившего Варфоломею постелью...

Старик зажег лампу, подбросил дров в печку, затем вытянул из шкафчика горшок с какой-то пищей и принялся лениво за еду. Жевал он недолго, погруженный в свое настроение и, затем, закулив трубку, забрался на свой хлам, прижался к углу, поджал под себя ноги и окончательно задумался. Он чувствовал себя словно пленником в этой конуре и мечтал о скорейшем наступлении дня, который прогоняет всякие страхи, призраки и тоску. Сторож размышлял о том, что рождественская ночь почему-то везде носит с собой тайну, робость и зародыш сверхъестественного. Старик невольно внушал себе эту опасность внезапной чертовщины, чудес и превращений, чем всегда таровата святая ночь.

Варфоломей чувствовал каждый шорох, движение и треск, кружившиеся вокруг него мелкими, едва уловимыми звуками; они шли из-за стен, от стен, мебели и печки, но он боролся со скребущейся в его душу тревогой, понимая неизбежность этой жизни, рождаемой тишиной, ее таинственной зловещности. Но постепенно витавшие в тишине звуки стали терять свою неясность, они становились все определеннее, ярче и в то же время еще загадочнее и страшнее. Старик старался освободиться от росших новых волнений, но его внимание все теснее закрепощалось приближавшимся движением, странным шумом, неразрывно связанным с сонмом каких то неопределенных звуков, похожих на голоса, но без слов, без криков, то трепещущих, то протяжных, смешанных, почти ясных сообща в своей массе и непонятных в отдельности. Старик не мог постигнуть, откуда явилась эта жизнь, но она упорно шла издалека, прорывались жалобная песнь, плач, угрюмый говор, хрип, дрожал топот и сочился протяжный, тонкий стон тоски, достигая стен его каморки, громоздясь невообразимыми звуками, и наполняя душу сторожа кошмарным, острым ужасом...

Старик жался к своему углу, готовый зарыться в постель, не зная, как избавиться от надвигавшегося безумия. Он чувствовал, что страшные гости неподалеку, что они ждут его — и, наконец, о Боже! — легкий, гулкий стук...



Стучали в дверь...

Еще и еще... Стуки неслись настойчиво, требовали, от ударов колыхалось и вспыхивало пламя в лампочке и шевелились занавески на окне, словно ужас уже проникал оттуда, вползал со всех сторон... Стуки ударили, как гром, были беспощадны, и старик осознал, что ему не спастись от них, что он в их власти, и, наконец, безропотно покорился своей участи... Почти машинально, точно приговоренный к смерти, спустился он на пол и побрел к дверям, к засову...

Словно вихрь вторгнулся в сторожку, с треском потухла лампа и почти совсем погасло пламя в печке, как будто притаилось и замерло с испуга... И потемнело все вокруг, потемнело в душе и глазах Варфоломея, и сверхъестественная сила подхватила его и, как воздухом, понесла его в глубь, в самую гущу непостижимого хаоса...

## II

Старик очутился среди большого зала анатомического театра, который он в течение 40 лет видел наполненным трупами... Он их в эту минуту также увидел, но в такой обстановке, что даже безумная фантазия человека не может изобразить ее...

В зале не было огня, но было светло, царил свинцовый свет луны, серый, как пар, и безжизненный, как кожа мертвеца. В холодной и сырой атмосфере склепа жило то страшное возбуждение, которое раньше доносилось слабыми откликами до сторожки Варфоломея. И сейчас все эти смешанные, разнохарактерные звуки, несмотря на свою яркость, были лишены реальной силы; крики, стоны, плач, стуки и скрежет отражались в душе сторожа, воспринимались всем существом его, но не достигали, были недоступны его слуху. И в этом был главный ужас и страдания сторожа, который, находясь посреди зала, не видел ни себя, ни своего тела, словно его здесь совершенно не было...

Сначала старик из творившегося вокруг него ничего не улавливал определенного. Здесь вертелись, плавали в воздухе, мешаясь с потоками лунного света, словно играли, туманные фигуры, то блеклые и прозрачные, как медузы, мягкие и гибкие, то плотные, как тени, но с сочными очертаниями контуров и движений. Стройно и легко шныряли костяки среди бродивших мрачно и уныло теней, еще не лишенных мяса и одежды. У иных лишь висели обрывки платья, у других еще держались части бывшего туалета, словно боровшегося за продление своего существования.

И в то время, как иные уже отошли от тела и истлели, их товарищи, части одного костюма, еще сохранились и даже блестели то пуговицами, то лентой или пряжкой, галунном или манишкой... А другие были еще совсем нарядны, хотя в ветошах, но еще свежих; каждый явился здесь в таком виде, в каком их застала в могилах эта ночь, с комьями земли и глины. На ином сидело в целости все платье, но уже оголялся костяк, другие лишь только вспухшие и набрякшие, еще на первых порах своей могильной жизни, но уже без всякого покрова...

Все сразу узрели старого сторожа и, как буря, закружились вокруг Варфоломея мертвецы и скелеты. Они сплетались, расплывались, разбрасывались и опять припадали и жались к нему, и в холодном ужасе он слышал слова просьбы, требования и угрозы.

— Отдай мое сердце, — полный тоски, умолял один, протирая иссохшие, еще в коже руки, — куда девалось мое сердце? Отдай мне его, отдай...

— Мои мозги, мои мозги, — где они, — жалобно стонал другой, на треснувшей голове которого болталась жидкая шевелюра, — за что вы выковыряли мои мозги...

— Мою ногу, мою ногу! — протискивался к сторожу прыгавший на одной ноге скелет, размахивавший, как хлыстом, своими длинными руками, — не могу я без ноги...

Один просил руку, другой печень, третий всю голову, без которой он неистово метался, вертя выглядывавшим из плеч куском позвоночника, на котором когда-то держался его пропавший череп. Каждый здесь что-нибудь оставил

и теперь стремился восстановить себя, привести в порядок и целость.

Варфоломей стоял ни жив, ни мертв, сознавая часть своей вины пред всеми за то, что помогал всегда докторам, фельдшерам и студентам, бесцеремонно кромсавшим здесь свежие трупы. Он раскаивался, что совершенно забывал тогда, что трупы, хотя умершие, но все-таки люди, и так непочтительно и грубо обращался с ними, швырял, точно дрова, бросал куски этих людей в грязные ведра и бочки, мешал все части вместе — кости, кожу, мозги, селезенки, печенки, легкие, сердца и куски черепов, швырял их в одну кучу и туда же отправлял предметы, ничего не имевшие общего с человеком, как то: грязную бумагу, куски старых веревок, тряпки, гвозди, объедки, всякий сор и другую дрянь...

Сторож теперь видел, что столько лет он провозился с этими мертвецами, а не понимал их и злоупотреблял тем обстоятельством, что сила их на том свете далека от него, и потому они не могли протестовать... Оказалось, что он и все с ним ошибались, будто мертвецы не достойны сожаления и внимания, и вся его молодость, сорокалетняя жизнь, проведенная в этом заведении, представилась ему непрерывным преступлением, жестокостью и безнравственностью. Теперь, очутившись среди тормозивших его со всех сторон, предъявлявших свои права, выходцев с того света, Варфоломей искал слов и поводов оправдаться в эту ужасную минуту страшного суда над ним. Был момент, когда он пытался было пуститься на хитрость и стал молиться в надежде, что покойники сгинут по положению, но расчет его не оправдался. На них его молитва не произвела никакого впечатления и это обстоятельство еще более смутило сторожа, который догадался, что он сделал ошибку, так как молитва, наоборот, покойников только укрепляет, а изводит лишь чертей, ведьм и другую нечистую силу.

Сторож многих узнавал из этой толпы негодующих, протестующих и страдающих покойников, которые еще не успели сбросить с себя телесную оболочку и остаться стройными скелетами. Оно прекрасно припоминал этих несчастных, которых приволакивали сюда со всех концов го-

рода, вытаскивали из оврагов, рек, колодцев, снимали с веревок на чердаках, подымали на улицах днем и ночью, убитых, отравленных и отравившихся, задушенных, умерших от водки, от рук соперников по любви, погибших в участках от побоев, затравленных городской сутолокой и погибших под экипажами богачей, под трамваями, сгоревших на пожарах, — всего не перечтешь и не припомнишь...

Сторож помнил их всех безропотными новичками здесь, жалкими, в крови и грязи, посиневшими и похолодевшими, без права на положение и прерогативы покойников, не требовавших от живых обычной почтительности и строгости. Этот зал лишал всех идиллии смерти, известного романтизма, внешнего эффекта и торжественности, которые так украшают каждого покойника в последние часы его пребывания на поверхности земли среди будущих мертвецов, еще ожидающих в неизвестности своего неизбежного конца и похорон...

Если бы старик мог ожидать что-либо подобное, он никогда не позволил бы себе быть непочтительным с покойниками, но он никак не предполагал еще раз встретиться с ними и в такой страшной обстановке. И Варфоломей терялся в поисках выхода из своего трагического положения. На него производило сильное впечатление это горе покойников, их отчаяние, он рад был бы помочь им, но не знал, как удовлетворить их справедливые претензии и протесты. Его беспокоило то обстоятельство что покойники также его узнали и что их месть и расправа будут основательны и справедливы. Он путливо вглядывался в происходившую вокруг него яростную оргию мертвецов, в потребности какого-либо сочувствия, намека на помощь.

...Его приводил в отчаяние сравнительно еще молодой скелет старика, еще во многих местах затянутый кожей, которая, как известно, живет дольше, чем мышцы, переживает иногда и волосы и ногти. Длинная белая борода его еще крепко держалась на оскаленном подбородке с крепкими, большими и кривыми зубами. Он был низкорослый, но коренастый, хотя нескладный, с чрезмерно длинными руками и короткими ногами дугой и огромными, как ло-

паты, ступнями.

Он был неимоверно страшен Варфоломею.

— Все взяли, выпотрошили, — вопил он бешено перед самым лицом сторожа, — как ты смел, гад, так поступать с ними? Взгляни на себя, какое ты ничтожество, и ты решился касаться наших тел, распоряжаться нашими останками, издеваться над страдальцами, которые ушли из мира потому, что он оказался недостойным их. Как ты осмелился допустить, чтобы нас калечили, отнимали последнее наше достояние... Мало того, что вы довели нас своей суровостью и бессердечием до гибели и смерти, в заключение вы еще уничтожаете нас во имя каких-то гуманных целей. Какое нам дело до здоровья людей, они для нас не хотели ничем жертвовать, с какой стати мы должны им отдавать даже свои трупы. На что нам человечество, пусть умирают, как мы умирали, а не создают свое счастье за наш счет! Все равно подохнете все, одна дорога, и нечего вам злоупотреблять тем, что мы протянули ноги не в постелях, а попали сюда. Пред Богом все равны, вот увидишь!

У него дрожали все кости от возмущения, а сторож виновато молчал, готовый броситься на колени и взмолиться о пощаде и прощении.

Ему теперь было страшнее умирать, чем когда-либо, и он порицал себя за то, что до сих пор не думал о времени, когда ему придется встретиться на том свете со всеми, с кем он имел общение... Но наряду с сознанием своей несправедливости, старик вспомнил, что он обращался не со всеми одинаково, что у него среди покойников были свои симпатии и любимцы, к которым он относился внимательно и ласково. Правда, таких было немного, но теперь, во время свалившегося на него несчастья, он вспомнил о трупах, которые должны бы питать к нему благодарность и помочь ему своим заступничеством, добрым словом, чтобы облегчить его участь и положение...

Но не успел он упрекнуть мертвых в неблагодарности, как искра радости и надежды блеснула в его душе. Сквозь гущу покойников пробирались, держась за руку, два трупа, которых сторож хорошо помнил.

Их привезли в прекрасный апрельский день, когда даже в этот зал пробились золотые лучи весеннего солнца. Варфоломей не знал, умерли ли они вместе, были ли они даже знакомы в жизни друг с другом, но в их красоте, молодости и характере их трупов было что-то общее. Какая-то однородная печаль, залегшая на их лицах, сближала их, давала нечто цельное, крайне трогательное и прекрасное сочетание. Варфоломей не знал, что заставило их умереть в такой сладкий, весенний, искрящийся светом, полный благоухания и радости день, который можно было бы сравнить с их юностью, чистотой и красотой, но у девушки на губах запекся с кровавой пеной яд, а у юноши в груди алая рана, маленькая и страшная...

Варфоломей, глядя теперь на них, вспомнил впечатление, произведенное ими тогда на него, неожиданное свое волнение и охватившую его непонятную печаль. Он подчинился какому-то уважению к этим мертвецам и потребности выделить их из общей кучи покойников. Он почти приревновал их к врачам и студентам, готовым обнажить их и приступить с пилами и ланцетами. И, не понимая, но чувствуя себя, Варфоломей скрыл их трупы и употребил все свои связи и влияние, чтобы похоронить их нетронутыми и в хорошо сколоченных гробах.

И теперь словно родных встретил в них старик и крайне обрадовался приветливости, с которой они приблизились к нему.

Старик сразу почувствовал себя облегченным, ставшим под их защиту.

— Ах, Варфоломей, — обратился с нежным и добрым упреком к старику юноша, — зачем ты пощадил нас, пожалел, как нам тяжело от этого, как тяжело...

Как ни было сложно и отчаянно положение сторожа, но он не мог сдержать своего изумления. Девушка же перехватила речь своего соседа и продолжала:

— Мы всю жизнь свою посвятили судьбе несчастных, обиженных и обездоленных, боролись и страдали за них и ушли от непосильной тягости жизни, уступили злым и сильным людям. И ты лишил нас последнего счастья на зем-

ле, разделить участь товарищей наших, чтобы хоть своей смертью принести какую-либо пользу людям...

— Ах, Варфоломей, — начал снова юноша, — благодаря тебе мы теперь чужие здесь, они считают нас гордыми, подозревают, что мы пользовались здесь протекцией, нас боятся, остерегаются. Ах, что ты наделал, Варфоломей...

Совсем растерялся старик... Не полагал он никогда, что будет раскаиваться в своем добром поступке... Он порывался убедить своих молодых друзей, что все эти покойники им просто завидуют и что они были бы очень рады, если бы их оставили целыми с мозгами, сердцем и т. д., что они страдают не по своему желанию и потому чуждаются, не понимают тех, кто по доброй воле обрекает себя на страдания во имя ближнего. Но не успел он и начать, как снова вихрем взметнулись вокруг него искалеченные покойники, словно прочли его мысли.

— Где наши мозги, ноги, сердца, головы, где, где, где?...

— Скажи, Варфоломей, — взмолились юноша и девушка в явном страхе за сторожа и в стремлении помочь своим братьям, загладить свою вину перед ними, — скажи, где их мозги, ноги, сердца, головы, скажи, Варфоломей... Если бы их здесь не было, покойники не явились бы сюда... Ведь покойник приходит только к тому месту, где он оставил что-либо важное, близкое и дорогое... Разве ты этого не знаешь, Варфоломей, разве ты не видишь, что явились сюда не все перебивавшие здесь на столах... Сегодня праздник, Варфоломей, успокой всех... Ведь другого случая такого не представится, завтра ты навсегда уходишь... Отдай, Варфоломей!

И тут сразу стало легче старому сторожу. Он вспомнил, что действительно покойникам разрешается посещать только те места, где они что-либо свое оставили, а другие им недоступны, и старик недоумевал, как это он раньше не догадался об этом. И хотя вопрос теперь для него разрешался благоприятно, но ему было стыдно сознаться, что большую часть костей, черепов, банок с различными внутренностями, которые ему поручались, после минования надобности, вывезти на кладбище и похоронить там, он оставлял тут же в доме, но прятал в глубине подвалов, на чер-

даках, в чуланах и по различным закоулкам, которыми изобилдовал этот дом, которые были доступны только Варфоломею и куда не заглядывал никогда ни один врач, студент или фельдшер. Также не один труп Варфоломеем схоронил в подвалах, роя в одиночестве ночью могилы, а деньги, выдаваемые на повозки, гробы и попо, он пропивал или отсылал племяннице в деревню...

— Все есть, все, — бросил он почти радостно покойникам, — только не знаю, как вы разберетесь с ними, я ведь не помню, не следил, кого что...

И он стал быстро пояснять места, указывать углы, шкафы, ящики и чердаки.

Не успел Варфоломеем окончить, как произошло что-то необыкновенное, во сто крат страшнее того, что происходило до сих пор здесь. Покойники разбежались по всему зданию и затем со всех сторон, углов и закоулков они стали быстро тащить охапки человеческих костей; их наваливали целые груды; черепа катились, тарактели, лопались и прыгали по полу...

Покойники словно взбесились. Они жадно вырывали друг у друга кости, черепа, сердца, мозги, каждый спешил найти свой кусок, дрался из-за своей части... Один примерял себе чужую голову, другой претендовал на не принадлежащее ему сердце, третий хотел удовольствоваться хоть какими-нибудь мозгами... Мертвецы бросали один в другого кусками скелетов, произошла отвратительная сцена безумства покойников, все смешалось в одну кучу, груды скелетов сплетались в бешеной борьбе...

Началась общая свалка, ожесточенный бой мертвецов...

— Уйдем отсюда! — не выдержали юноша и девушка. — Скорей, скорей...

И, подхватив потерявшего от безумного ужаса память Варфоломея, они понеслись вон из этого ада...

И утром, когда люди нашли Варфоломея лежащим посреди своей конуры, он находился еще без чувств... Придя в себя, он рассказал обо всем чистосердечно, но ему не поверили и даже подумали, что он сошел с ума...



## БЕГЛЕЦЫ

Психически больной Новосельцев осторожно выглянул из-под своего полосатого одеяла и оглядел палату. Больные все спали и, словно сговорившись, не кашляли, не ворочались и не бормотали во сне.

Палата была слабо освещена небольшой лампой под широким зеленым абажуром, спускавшейся с потолка на толстой проволоке. Всех больных в палате было 10 человек, хотя кроватей было 11: вдоль стен одна против другой по пяти и одна кровать около дверей отдельно. На этой кровати лежал палатный служитель Медведев, который спал здоровым сном и один храпел на всю палату.

Из больничной конторы доносился в палату глухой бой часов, извещавших о наступлении полуночи. Новосельцев подождал, пока часы пробьют свое, и затем, сбросив с себя одеяло, приподнялся на постели. Он все свое внимание обратил на кровать Медведева и несколько минут с явным наслаждением слушал его сочный и равномерный храп. Лицо Новосельцева было бледно и сосредоточено, глаза блестящие, а губы были тесно сжаты. Когда он убедился, что служитель спит крепким и действительным сном, он как-то порывисто почесал в голове и решился, наконец, оставить свое место.

Новосельцев нервно и быстро натянул на себя свой серый, больничный, широкий халат и в то же время вложил свои ноги, бывшие уже в чулках, в туфли. Одевшись, он с печатью торжественной загадочности на лице стал переходить, делая быстрые, большие, но неслышные шаги, почти скачки, от кровати к кровати и лишь слабо прикасался к плечу спавших на правом боку больных.

Прикосновение Новосельцева производило на его товарищей действие электрического тока. Они немедленно неслышно вскакивали, бросали быстро первый взгляд на постель Медведева и, не глядя друг на друга, словно каждый из них действовал отдельно, а не сообща, натягивали на себя свои халаты, одновременно вкладывая свои ноги в туф-

ли, словно по команде, как это делал Новосельцев. Лица у всех были одинаково сосредоточенные, бледные, с сжатыми губами, углы которых все-таки дрожали, доказывая сильное волнение больных. Новосельцев, придерживая халат у пояса, согнувшись, почти на коленях прошмыгнул мимо Медведева в дверь и за ним таким же образом, неслышно, как кошки, последовали остальные больные. Бегом, не издавая ни звука, бежали больные по длинному коридору к узкой лестнице, ведущей на чердак. Только около лестницы Новосельцев на бегу обернулся к своим товарищам и с сиявшим радостью лицом приложил два пальца к губам: «молчите, мол», — и затем, как обезьяна, вскарабкался по лестнице наверх и скрылся в чердачном люке, а за ним бросились остальные его товарищи.

На чердаке было совершенно темно, но больные не смущались этим обстоятельством; они сейчас же наткнулись на продольную балку и, держась за нее, двинулись по горячему песку, наполнявшему накат, вдоль чердака. Они цеплялись лицами за протянутые на чердаке веревки и висевшее на них влажное белье. «Сюда!» — услышали скоро шепот Новосельцева безумные и, очутившись у слухового окна, увидели Новосельцева, стоявшего уже на крыше, поднявшего руки к небу и жадно вдыхавшего чистый, морозный воздух.

— Сюда, сюда! — шептали безумные и один за другим лезли на крышу, как будто они боялись, что не успеют надышаться. Беглецы лишь несколько минут стояли в снегу на крыше, прервав для передышки свое бегство. Запахнув халаты на груди, без колпаков, они не то от холода, не то от охватившего их волнения содрогались и впились своими блестящими жаркими глазами в расстилавшийся перед ними пейзаж. Кругом все было бело. Больница находилась за городом и только ее постройки возвышались у ног беглецов.

Дальше же виднелся окруженный стенами сад, черным пятном выделявшийся на белом фоне снеговой долины, а за садом прорезывала белый покров темная дорога, вившаяся далеко и скрывавшаяся за холмом...

— Идем, идем туда! — сказал Новосельцев, указывая пальцем на дорогу. Обуреваемые еще большей надеждой и волнуемые внезапной свободой, которой они достигли благодаря своей хитрости, больные, предводительствуемые Новосельцевым, снова устремились по крыше и стали спускаться по крутой лестнице во двор. Новосельцев еще днем все высмотрел, задумав самостоятельно побег, и только вечером после ужина, перед сном, поделился своим проектом с товарищами. Он им долго не объяснял, безумные чутьем и нервами скоро его поняли, одобрили план действий и тихо, спокойно, коварно, без шума улеглись спать, обманув и успокоив такой хитростью Медведева, подвыпившего во время рождественского ужина.

Лишь только Новосельцев ступил на двор, как мигом, счастливый и трепещущий от радости, постепенно возраставшей, он бросился к Плутону, большому рыжему больничному псу, выбежавшему из подвала и вздумавшему ворчать при виде людей. Плутон хорошо знал Новосельцева, очень любил его и всегда ласкался к нему.

Новосельцев схватил его в объятия и, жарко целуя, стал шепотом умолять: «Милый друг мой, не лай, не мешай, разбудишь, пойдем с нами, пойдем, Плутон, только не лай, не лай, а то я принужден буду тебя задушить, а этого я не хочу. Плутон, не лай, пойдем со мной». Плутон не лаял, а стал жалостно и едва слышно визжать и тереться о ноги Новосельцева. Новосельцев взобрался на сорный ящик, а оттуда и на каменный забор, последнюю преграду. Затем ему подали Плутона, не издававшего почти ни звука, и безумный сейчас же спустил пса, держа его за задние ноги, по другую сторону стены. Плутон, очутившись в поле, сломя голову бросился вперед на дорогу, возвратился обратно, закружился на месте и стал кидаться на каждого прыгавшего со стены больного и лизать ему лицо. «Идем, идем», — шептали больные и побежали по дороге за Плутоном, как будто за ними мчалась погоня. За холмом беглецы остановились. Они дышали тяжело и порывисто и вместе с тем радостно. Безумные оглядывались кругом, смотрели на снег, на небо и друг на друга.

— Ах, какая луна! — воскликнул Колесов, рыжий больной с полным круглым лицом, — какая красивая и светлая; она ведь никогда такой не была, не правда ли, никогда?!

— Никогда! — таинственно и шепотом согласился с ним Левин, она также за нас вместе с Плутоном, — и худой, смуглый безумец счастливо потерял руки.

— Воображаю, что завтра скажет Крюков! — проговорил Новосельцев. — Он убьет Медведева.

— Очень хорошо будет! — воскликнул Картавцев, высокий, как столб, с льняными волосами человек. — Медведева давно следует убить, а Крюков хотя доктор, но дурак, круглый дурак. Он воображает, что все знает и лечит всех ваннами. Я уже и без того чист, а он все ванны. У меня уже нет грехов, я не могу брать ванны, для чего они мне, раз я очистился?! — Картавцев нервно повел плечами.

— Конечно, нет, нам праздник нужен, елка. Рождество, а не ванны, — воскликнул Сыров, небольшого роста, с кривыми ногами.

— Ах как я их боюсь, этих ванн, как боюсь! — весь задрожав, прошептал Левин и в ужасе от одного воспоминания закрыл лицо руками.

— Как в кровь садишься, — присовокупил Колесов, — брр, теплая кровь, что может быть ужаснее!

— Идем, идем! — снова устремился вперед Новосельцев. — Месяц за нами смотрит и бежит, идем, вот огонек нам навстречу спешит.

Безумные, радостно подпрыгивая, приближались по дороге к слабой огненной точке и очутились скоро у решетчатой ограды, за которой виднелись кресты и плиты. Кладбище было бело от снега, как в саване, под которым ясно на каждом шагу округлялись формы могил, а кресты, как сторожа, возвышались над ними и мешались с черневшими деревьями.

— Мы пришли! — воскликнул Левин. — Мы на кладбище, будем воскрешать мертвых. Лезем через забор.

— Да, бездействие мне надоело, — ответил Новосельцев, — нужно чем-нибудь отличить свою жизнь, надо дейст-

воватъ, а не жить, как мы жили, на всем готовом.

— Да, да, пойдем скорее, а то холодно! — заговорили беглецы.

Сумасшедшие стали осторожно перелезать через невысокую ограду, стараясь не зацепиться за копыя решеток.

По колени в снегу, возбужденные, они шли гурьбой по кладбищу, осторожно обходя могилы. Больные не знали, отчего они ушли из больницы; обуреваемые лишь одним стремлением вырваться на свободу от докторов, служителей, ванн и однообразного строгого режима, эти душевнобольные люди, взбудораженные во время ужина рассказами о елке и сочельнике, были легко завербованы Новосельцевым для ворвавшейся в его безумную голову цели. Он хотел только приносить пользу, это была его единственная и святая и страстная цель в жизни, и он, наконец, улучил момент и бежал в сопровождении всей палаты. Новосельцев вел товарищей к мерцавшему огоньку, оказавшемуся огнем сторожки. Приложив палец к губам, чтобы товарищи молчали, Новосельцев постучал в окно.

— Кто там? — послышался за окном хриплый голос, — и в праздник от вас покою нет, поужинать не дадут, как всякому православному. Проклятая служба, — продолжал голос уже за дверью, стуча щеколдой, — с этими покойниками больше возни, чем с живыми. Вот народ, и на том свете не может себя спокойно вести.

Дверь отворилась и перед безумцами предстал низкий, горбатый старик. Седая голова его была взъерошена, лицо все изъедено оспой, какие-то небольшие клочья волос заменяли ему усы, а от подбородка шла длинная и узкая, как лента, жидкая борода. Но зато брови горбуна были больше и сросшиеся и нависли, как пучки ваты, над его впалыми глазами. Шея его уходила между острых плеч, которые подымались до самых ушей старика.

Оглядев группу людей, горбун, еле удерживаясь на ногах, спросил заплетающимся языком:

— Кто вы и что вам нужно?

Тут безумцы окружили его и стали говорить возбужденно, дрожа, спеша и перебивая друг друга: мы хотим к тебе,

пригласи всех покойников и устроим праздник. Наш доктор отлично устраивает елку и нам дают чай и все. Мы пойдем, куда хочешь, только дай нам чаю и шапки, мы без шапок...

Бедные безумцы озябли; у них зуб на зуб не попадал от холода. Пока они не видели жилья, они шли неведомо куда, но наткнувшись на сторожку, были охвачены животной жаждой тепла и отдыха. Один только Новосельцев, схватив горбуна за его костлявые руки, стал шептать:

— Неужели здесь, где лежит столько несчастных, никому нельзя ничем помочь, скажи?

— Здесь не твое дело, а мое, — ответил, еле выговаривая слова, пьяный горбун, — я здесь наблюдаю, вы у меня все здесь на учете. Вы с какой линии? — спросил он серьезно безумцев. — И чего вы сегодня поднялись? Разве сегодня время для этого? В сочельник ваш брат должен тихо лежать; это в ночь на Светлое Воскресенье можно.

— Нет, нет! — заговорили беглецы. — Ты не говори этого, пусти нас, пусти, — и они рвались в дверь сторожки.

— Вот это мне нравится! — воскликнул горбун. — Что вы у меня будете делать? Разве можно покойникам ко мне ходить? Вам с кладбища нельзя никуда отлучаться, ступайте, ложитесь по местам.

— Нет, нет, там елка, елка! — завопил истерично Левин, и действительно, безумцы заметили через окно сторожки сверкавшую горевшими свечами елку. Словно огонь разлился по крови безумцев, такое магическое впечатление произвел на них вид зажженной елки. Они стали просить горбуна, толкать и неистово, полные необыкновенного влечения, рваться в сторожку, где их безумную фантазию манила незабвенная елка, таящая в себе всю сладость воспоминаний, детских, счастливых дней, ласки матери и тепла домашнего очага. Бедные люди так трепетали, возбуждение их было так велико, что горбун сжалился над ними:

— У меня доброе сердце, и в праздник я вам не могу отказать. Только — чур, когда петухи прогорланят, марш по местам, а то сердиться буду.

— Да, да, елку, елку... — лепетали безумные, словно оча-

рованные, и, ворвавшись в жаркую сторожку горбуна, стали толкаться около небольшой елочки, установленной на сундуке; елка была убрана цветной бумагой, лентами и свечами.

Больные трогали елку за ветви, ощупывали, целовали ленты и были в неопisanном, настоящем, безумном восторге. Они схватили друг друга за руки и, блаженно улыбаясь и смеясь, шептали: «Елка, елка, какое счастье!» и жались к освещенному деревцу. Горбун же стоял и с удивленным, но вместе с тем довольным выражением лица наблюдал за своими неожиданными гостями.

— 20 лет я здесь живу, начальствую над ними, а в первый раз мне приходится видеть, чтобы покойники за елкой гонялись. Ишь, чуть не съедят ее! — пожал плечами горбун. — И пришло мне в голову на память о детках моих елочку зажечь; оказалось, что это для них Бог надоумил меня... что же, пусть покойнички повеселятся, они ведь тоже из христиан.

Как вдруг, в чистом морозном воздухе, издали донесся глухой, но сильный удар ружейного выстрела. Горбун вздрогнул и удивленно стал прислушиваться, а восторгавшиеся безумцы как-то инстинктивно остановились. За первым выстрелом последовал другой и третий и тогда безумные заволновались и зашевелились.

— Убивают кого-то, убивают, — заговорили они.

— Что за притча? — сказал горбун. — Откуда это стрельба ночью? не произошло ли что-нибудь в тюрьме, она здесь недалеко, за оврагом. Пойду я посмотрю, что там творится. А вы, детки, тушите елку да и на покой ступайте... не надоело вам еще вalandаться на этом свете, что вы на всю ночь зарядили около елки кружиться?

Горбун вышел из сторожки, прислушиваясь к трещащим в воздухе выстрелам, все учащавшимся и приближавшимся. Он хотел было пуститься в рассуждение по этому поводу, как вдруг неопisanное изумление и ужас выразились на его уродливом лице. Пред ним в нескольких шагах от сторожки лежал в окровавленном снегу труп его черной мохнатой собаки Лизки. Гневом и горем исказилось лицо

старика при виде своего старого друга, лежавшего перед ним с перерезанным горлом. Он поспешно бросился к черневшему на снегу в нескольких шагах другому предмету, и другой яростный крик вырвался из горла горбуна; перед ним лежала другая, ему неизвестная собака, оказавшаяся Плутоном. У бедного животного также было перерезано горло. Старик словно обезумел; он не мог ничего понять, его мозг не в состоянии был усвоить этот случай, он не мог себе представить, кто здесь на кладбище ночью, где кроме него нет ни одного живого человека, где лишь одни покойники, кто вздумал зарезать этих двух собак. Покойники на это не способны, в этом горбун был уверен. Откуда же взялись здесь злодеи? — с беспредельным негодованием спрашивал он.

Но не долго мог задумываться об этом старик, так как заметил, к своему увеличивающемуся ужасу, что выстрелы, наконец, стали раздаваться у самого кладбища.

До него начали доноситься крики и голоса, говор целой толпы, который здесь ночью на кладбище старик слышал первый раз за двадцать лет. Он не знал, бежать ли ему; его охватил неимоверный ужас, хотя до сих пор он никого не боялся. У горбуна отнялся язык, приросли к земле ноги и застыло все тело, когда он увидел, что со всех сторон на него надвигаются человеческие фигуры, бегущие и лавирующие между деревьями и крестами. Как глазами мигали, то появляясь, то скрываясь, огоньки их фонарей.

Если бы перед горбуном внезапно открылись все могилы и встали все покойники, ожили бы и стали надвигаться на него, он не был бы так изумлен, как изумился неожиданному появлению неизвестных людей... Еще больше возросли его удивление и ужас, когда перед горбуном заблестели освещенные луной штыки ружей и металлические пуговицы на шинелях. Еще несколько минут — и горбун оказался окруженным целым отрядом крайне взволнованных солдат; лица их были бледны, солдаты тяжело дышали и заговорили все сразу, тормоша старика.

— Только что из тюрьмы бежало десять каторжников, следы ведут прямо к тебе на кладбище. Им больше негде



спрятаться. Ты, старик, их укрыл. Сознавайся, или мы твою сторожку и все могилы перероем. Они в серых шинелях и без шапок, — яростно кричали солдаты.

Задрожал горбун, и лицо его исказилось злобой. Он все понял теперь, все сообразил, догадался, кто зарезал Лизку и чужую собаку.

— Так это вот какие покойники?! — прошептал он. — Пойдите же, собачьи сыны, я вам покажу, как морочить старика, я вам дам елку; ишь, какого мне туману напустили... Чего ж скрывать, — обратился он к солдатам, — дичь у меня в сторожке; елкой они забавляются, как дети, собак у меня порезали, за покойников себя выдали, самозванцы проклятые... — злобно погрозил горбун кулаком по направлению к сторожке.

Его не слушали больше солдаты; часть их бросилась в сторожку, и сейчас же с криками торжества солдаты стали вытаскивать оттуда безумных. Страшный и невероятный испуг охватить больных; лица их были ужасны, глаза рвались из орбит, на губах кипела пена. Они бились в дюжих руках солдат, которые были взбешены ночной тревогой, волнением и перспективой попасть под суд. Им казалось, что их жертвы, находящиеся в безумном припадке, сопротивляются. Солдаты стали вязать их и уносить быстро через кладбище, несмотря на их вопли.

— Все десять налицо! — радостным голосом кричал унтер-офицер, предводительствовавший отрядом. — Чуть-чуть мы не влетели; хорош был бы и поручик за то, что ушел с дежурства на ужин в город, да и мы получили бы на елку гостинца.

Тревога унтер-офицера прошла, и он сделался после минования опасности очень словоохотливым.

— Ну, а ты, старик, ступай с нами, — сказал унтер-офицер горбуну, ты должен будешь показание дать.

Горбун ни слова не сказал, только голова его еще глубже вошла в его плечи, и он последовал за солдатами.

Скоро затих последний шум удалявшегося отряда, но не более четверти часа кладбище казалось пустым. Из небольшой деревянной часовни стали выходить, тревожно ог-

лядываясь, какие-то люди. Они были в серых шинелях и без шапок, лица у них были бледные и испуганные.

— Ну, теперь уж пропали мы для них, обратился радостно старик-каторжник к товарищам, — до утра они с нашими спасителями повозятся, пока раскусят, в чем дело, а там уже нас не найдешь...

И беглецы, быстро перебравшись через ограду, скрылись в овраге...

## МЕРТВАЯ СВЕЧА

### I

— Что ж, Колька, так мы и останемся на Рождество без всего? — с тоской в голосе сказал Сашка Солдат, обращаясь к своему товарищу, лежавшему на полу, на рваном пальто. Сам же Сашка Солдат, названный так потому, что был дезертиром, лежал на большой корзине, на куче всякого тряпья. Оба товарища смотрели с мрачным отчаянием в закоптелый потолок, словно надеясь прочесть ответ на свои грустные думы. Сашка Солдат задал свой вопрос после долгого тяжелого раздумья о тяжелом положении накануне праздника, давившего и мучившего их массой потребностей и желаний. Рождество заставляло приятелей в холодной конуре, без денег, водки, пищи и обновок, то есть без всего того, что необходимо иметь каждому человеку в такой день. Праздник надвигался на них всей тяжестью традиционных потребностей и настроений, и парни чувствовали себя в отчаянном положении. Они не могли себе представить, не могли примириться с мыслью, что они будут лишены на Рождество того, в чем они нуждаются.

— Хоть подыхай! — мрачно вздохнул Сашка. — Ну и vremena!

Дезертир в сильнейшей досаде плюнул далеко от себя.

— Как будто отрезано, — присовокупил тем же безнадежным тоном Колька, — ни одно дело не дается, все срывается; то собаки помешают, то черт какой-нибудь проснется и гвалт подымет, то городской наскочит, то дворник — не везет, одним словом, и больше ничего.

— Бывает так, что «фарта» нет, тогда ни за что нельзя браться. Слава Богу, что все дела срывались благополучно, а то изволь теперь на Рождество в тюрьме сидеть, — сказал Сашка.

— Лучше уже в тюрьме, чем здесь, в этой собачьей яме, в холоде и голоде; что за счастье в такой воле? Кажется, ста-

раешься, на все идешь, а теперь и охоты нет об этом думать, когда знаешь, что все напрасно...

— Положение критическое пришло, — заметил Сашка, — надо что-нибудь выдумать, не лежать же так, даже без табаку...

— Ну и выдумывай, — сердито и презрительно ответил Колька, — раскидывай умом...

— Сам знаешь, что когда несчастливая линия пойдет, как теперь у нас, то ничто не поможет, хоть удавись, — начал решительно Сашка, по-видимому, выдумав что-то. — Есть только одно средство, самое верное и хорошее... да только...

Дезертир в нерешительности остановился, по-видимому, не решаясь сказать сразу и смело то, что он надумал. Этим он необыкновенно заинтересовал своего приятеля, которым внезапно овладела какая-то надежда. Он по голосу Сашки понял, что тот собирается предложить что-то очень важное.

— Надо... мертвую свечу достать...

Всего ждал Колька, только не этого; он похолодел в первый момент от предложения Сашки.

— Только мертвую свечу...

Колька не мог произнести ни слова. Он словно замер. Мысль Сашки была до того исключительна, что его приятель, с первого слова усвоив ее, не решался все-таки ответить; он как будто еще не доверял, что возник такой проект.

Сашка также замолчал; он только сел на своей корзине и возбужденным взглядом стал смотреть на Кольку. Он видел, что его предложение озадачило его, но в то же время понимал, что Колька вполне согласен с ним, и только серьезность и трудность проекта заставляют его еще колебаться.

— От мертвой свечи все зависит, без нее ничего не выйдет...

Тогда Колька сел и устремил свой взгляд на Сашку.

— А впрямь поможет?.. — как-то странно спросил он.

У Сашки блеснул взгляд, он сделал нервное движение, спустил ноги с корзины и с блестящими глазами заговорил,

сильно жестикулируя.

— Ведь ничего нет лучше на свете мертвой свечи. Пойми, что с ней можно всюду войти, все делать, без всякого риска. Никто тебе не страшен, никто тебя не видит, не трогает. В тюрьму, в церковь, к самому полицмейстеру войдешь и ничего, как будто тебя нет. На сыщика наплевать. Великая вещь — мертвая свеча; не надо тебе на всякое пустое дело идти, воля полная, берешь, что тебе нужно, везде тебе открыто, стоять из за такой свечи и постараться...

Лицо Сашки дышало вдохновением; он говорил горячо и убежденно, и речь его действовала занимательно на его слушателя. Лицо последнего разгорелось так же, как у Сашки, возбужденные глаза были устремлены на дезертира. Кольку охватила нервная дрожь, он с восторгом слушал своего товарища, открывавшего ему перспективу полной свободы и безопасности. Он в упоении засмеялся, когда услышал о действии, производимом чудной свечой. Он, как и все воры, слышал в общем о качествах мертвой свечи, но мысль о том, чтобы практически воспользоваться ею, ему никогда в голову не приходила. Между тем, теперь, в минуту сильной нужды и отчаяния, у воров явилась проблема, которая, при разрешении, обещала им возможность избавиться от всего того, что их мучило и тяготило, что им мешало жить сыто и в довольстве. Идея Сашки вытекала из простой необходимости, условия жизни заставляли воров хвататься за чрезвычайную мысль и приводить ее в исполнение. Положение воров было безвыходное, неудачи лишили их энергии и инициативы, что совершенно парализовало их деятельность, и только сверхъестественный случай мог избавить их от тяжелых обстоятельств. Чем больше они вникали в сущность пользы, приносимой мертвой свечой, тем больше они увлекались идеей ее приобретения. Приятели пришли в какой-то фанатический восторг, необыкновенная свеча заняла все их мысли. Они уже чувствовали, что не могут без нее обойтись, что она им необыкновенно нужна, и приятели решили во что бы то ни стало достать мертвую свечу. Сашка словно загипнотизировал Кольку, и они не подумали даже о фантастичности и без-

рассудности их плана. Им, как и всем, было известно, что мертвая свеча готовится из человеческого жира и, вследствие этого, она обладает сверхъестественными свойствами. Полная опасности и неуверенная жизнь до того им надоела, что воры решились во что бы то ни стало добыть чудный талисман, достать человеческий жир. Но у них возник важный вопрос, где достать теперь человеческий труп, чтобы вырезать из него жир; каждый из них подавал свою мысль и, наконец, не придя к определенному заключению, они, двигаемые лишь своей идеей, решились идти и добыть жир во что бы то ни стало. Каждый должен был руководствоваться собственной инициативой, умением и сообразительностью, и полные энергии и решительности Сашка и Колька взяли с собой ножи, ломы, фонари, потушили лампочку и, оставив конуру, вышли на трудный подвиг. Перспектива будущего довольства и счастья подымала их дух и внушала бодрость и силу.

## II

Расставшись с приятелем, Колька остановился посреди площади, чтобы сообразить, что ему делать, и ориентироваться в мыслях. Находясь во власти безумной идеи о мертвой свече, Колька сразу решил направиться на кладбище. Более подходящего места, чем кладбище, трудно было придумать. Мысль была простая и естественная, и потому Колька, подняв воротник своего пальто, зашагал в глухие и темные переулки, направляясь к городской окраине.

Хотя Колька часто посещал кладбище, но в ночное время ему никогда не приходилось там бывать. Днем он шатался по могилам, лясь на венки, похищая лампы и кресты, или просто сдирав с образов ризы, рассуждая, что для святых и покойников важно, чтобы лик остался. Когда Колька стал приближаться к кладбищенской ограде и в глаза ему сверкнула лампада над воротами, как звездочка, мерцавшая издали, шаги Кольки замедлились, в душу

его стала проникать робость.

Серьезность и трудность задачи, к которой он приближался, предстали пред ним в более определенной форме. Мысль, что дело, за которое он взялся, крайне необыкновенное, заставила его на миг усомниться в успехе своего предприятия, но затем близость цели и сознание о будущей пользе и, наконец, желание погордиться пред товарищами, пред всем воровским обществом обладанием чудесной свечой, заставили его побороть минутную нерешительность. Скоро Колька, старавшийся не глядеть вовнутрь кладбища, сидел уже на железной ограде. Еще минута, и он прыгнул в снег, на забытую могилу без памятника и креста, приютившуюся под самой оградой, и когда ноги его глубоко погрузились в рыхлый снег, Кольке вдруг показалось, что кто-то охнул и слабо застонал под ним, словно он кому-то в грудь втиснул свои каблуки. Колька замер и несколько времени стоял без движения и дыхания, боясь шелохнуться, объятый страхом. Но он скоро оправился, перевел дух, собрался с мыслями и успокоил себя тем, что это ему почудилось, но невольно поспешил уйти от страшной могилы, не желая оглядываться. Он направился вовнутрь кладбища, уставленного белыми крестами, столбами и плитами, которые слабыми очертаниями выделялись на фоне зимней ночи и издали казались среди темных и стройных силуэтов деревьев бродившими над могилами призраками, то простиравшими куда-то свои руки, то тянувшимися вверх, то лежавшими и давившими своей тяжестью могилы. Кой где, как чернильное пятно, виднелась черная плита или мрачный черный крест. Колька перевел дух, очутившись среди могил, памятников и крестов, и, сдерживая себя и борясь с тревожным чувством, проникавшим в его душу, он старался отогнать от себя лезшие назойливо в голову страшные мысли и думать только о деле. К тому же, сильный холод, дававший уже себя чувствовать, да нерасполагающая обстановка кладбища заставляли его стремиться скорее окончить работу и уйти прочь от этого места, где, в противоположность мертвецам, так плохо себя чувствуют живые люди.

Колька стал искать подходящую могилу, не руководствуясь в общем никакими соображениями, и, наконец, почему-то инстинктивно остановился перед одним могильным бугром и стал его осматривать. Вдруг Колька весь задрожал и отскочил в ужасе, как будто его сильно ударили в грудь. «Вот штука, — прошептал он, — чуть мать родную не откопал». Кой как оправившись от охватившего его волнения и поглядев затем печально на могилу своей матери, которую он недавно похоронил, Колька поплелся дальше рыскать среди могильных бугров, думая о своей старухе, которая болела в голоде и холоде, и о том, что и он не мог ничем спасти ее, с трудом добывая всякими путями скудное пропитание. Нужда и печальное положение еще более рельефно предстали пред ним от воспоминаний и придали ему еще более решимости покончить с этим проклятым житьем.

Наконец Колька снова выбрал могилу и решился уже за нее приняться, как глядь! — он опять стоял пред могилой матери. «Господи помилуй, что за оказия!» — пробормотал в сильном замешательстве испуганный таким странным обстоятельством Колька. Перекрестившись, крайне встревоженный, он убежал, решившись искать могилу в другой части кладбища, чтобы не встречаться более с дорогой могилой, которая некстати стала попадаться ему на глаза. Делая усилия не оглядываться и не обращать внимания на различные звуки, носившиеся по кладбищу и Бог весть откуда бравшиеся, Колька направился к небольшой часовне, у которой, как ему было известно, гробокопатели оставляют всегда свои лопаты и ломы. Вооружившись лопатой, край которой даже при лунном свете блеснул от частого употребления, Колька решительно плюнул на руки и вонзил лопату в первый попавшийся могильный бугор, чтобы уже не выбирать и долго не искать. Он старался ни о чем не думать, потому что его фантазия невольно разыгрывалась и его охватывал безотчетный трепет. Отбрасывая комья земли и нарушая ими снежную белизну покровов соседних могил, Колька ободрял себя надеждой на будущий результат своей работы, которая быстро подвигалась впе-



ред. Но, находясь в то же время под влиянием окружавшей его обстановки, он не мог не поддаться беспокойству, создавая, что он глубокой ночью, тайно от всех, нарушает спокойствие мертвецов. Он боролся, как мог, с этим пробуждавшимся в нем страхом, но чувство абсолютного одиночества, чем он был силен вначале, стало постепенно пропадать в нем. Он стал чувствовать, что он уже не один, а что его окружают свидетели его преступной работы, которые чего-то ждут. Сжимая от нервной дрожи зубы, Колька быстро взрывал могилу, стараясь весь предаться работе, чтобы ничего не видеть и не слышать. Но не думать он не мог; мысли за мыслями спешили в его голове и ему казалось, что кто-то обвиняет его и спорит с ним. Кто-то пробуждал в нем мысль, что вся жизнь его будет в зависимости от этого поступка, что он никогда не освободится от него, что он никогда не избавится от сознания своего греха. Колька против воли стал понимать, что он зашел слишком далеко в своем стремлении к легкому обогащению, что пошел он на слишком трудное предприятие, которое не может ничем вознаградиться.

Как мог, боролся Колька с этим мучившим его сознанием, но продолжал упорно взрывать могилу, которая уже чернела под ним, и он постепенно опускался в вырываемую под собою яму. Он не хотел еще расстаться со своей безумной идеей. Ему чудилось, что его окружают и постепенно надвигаются на него наполняющие кладбище призраки, которые шепчут ему укоры и обвинения. Роя землю, согнувшись над лопатой, не глядя никуда, а лишь в одну чернеющую под собой яму, он сопротивлялся своим чувствам, боролся. Страшась, проникаясь холодом ужаса, он утвердил одно для своего успокоения, что он во что бы то ни стало должен иметь мертвую свечу, в ней только он видел свое счастье. Колька считал, что он достаточно натерпелся горя и лишений, чтобы пренебречь возможностью разбогатеть. Покойнику жир не нужен, он ему лишний, а между тем, сколько пользы от него для живых, и потому он считал себя вправе не признавать святости могилы и неприкосновенности мертвых; он был ожесточен и отстранял от себя

все мысли, предостерегавшие его от безумного поступка. Колька понимал хорошо, что невольно охватившие его робость и минутами страх происходят от суеверия, с которым он боролся, что надвигавшиеся на него как будто призраки не более, как игра воображения, против которого он бессилен, что мертвецы не могут вставать, но все таки страх сковывал его все крепче и крепче, душа его холодела, зубы бились от охватывавшего его трепета. Колька старался победить самого себя, хотел, чтоб разум его взял верх над душой и чувством, и, наперекор всему, решил во что бы то ни стало добиться своего. Он отстранял от себя тяжелые предчувствия, а между тем, не мог уже смотреть по сторонам, ему казалось, что белые тени собираются со всего кладбища, приближаются к нему, все теснее и теснее окружают его призрачной толпой, ужасаясь его святотатственной работе. Между Колькой и сонмом кладбищенских призраков как будто происходила безмолвная борьба, Колька чувствовал, что приходит конец его сознанию и разуму, что он не выдержит, что страх побеждает его, что он отдается во власть ужасных сил, которые захватывают его. Он делает последнее усилие, лопата его ударяется в крышку гроба, еще момент, и он победил. Колька сорвал доску: пред ним лежала — его мать.

Неизвестно, слышал ли кто крик выскочившего из могилы своей матери Кольки, но крик этот мог разбудить всех мертвецов. Но какой затем дьявольский и чудовищный хохот, визг и шум разразился кругом, казалось — все кладбище заколыхалось и задрожало. Колька, обезумев, вступил в отчаянную борьбу с напиравшими и притаившимися вокруг него призраками, которые росли, лезли и теснили его. Он отталкивал их бешено руками, но они не поддавались ему, он наткнулся на них, его цепляли за платье, рвали тело... Колька бежал через кладбище, перепрыгивал десятки могил и решеток, бился и в последнем неимоверном, сверхъестественном усилии очутился на кладбищенской ограде и оттуда же, как камень, полетел стремглав за ограду и остался недвижим...

---

### III

Городская жизнь замирала, пешеходов попадалось немного на улицах. Сашка спешил к намеченной цели, размышляя о том, как он заберется в «анатомию», где теперь темно, и как ему никто не будет мешать. До анатомического театра было далеко и, когда Сашка, несколько усталый, приближался к мрачному зданию, он был озадачен тем, что в здании, — жизнь и движение и слышен говор. Такого явления в сочельник он никак не ожидал: он полагал, что здесь стоит мертвая тишина. Сашка осторожно вошел во двор и, проскользнув среди повозок и дрожек, пробрался в длинный полутемный зал с рядами покатых столов у стен.

С потолка спускались на толстых проволоках три больших лампы с широкими жестяными абажурами, так что свет лишь падал на середину залы между рядами столов. Сашка, пользуясь тем, что все в зале были заняты, спрятался в угол и стал наблюдать. Хотя Сашка вообще был настроен для всяких опасных приключений, но он все-таки в первую минуту почувствовал некоторую робость и волнение. Городовые, извозчики и рабочие вносили со двора трупы и с криком бросали тяжелые тела на покатые столы и отправлялись за новыми покойниками. Тащили они трупы с таким видом, словно они волокли бревна, ящики или тюки; рабочие и городовые разговаривали между собою, шутили и смеялись, как будто забыли, что они имеют дело с бывшими людьми, души которых навсегда отлетели в другой мир. Бросив труп, они сразу отворачивались от него, шли за другим и спешили окончить свою работу, так как каждого ждал праздничный ужин. Распоряжалась в зале хромая баба, небольшого роста, сильно морщинистая, с повязанной платочком головой и наброшенным на плечи мужским полушубком. Она суежилась, прыгала по зале между столами, волоча за собою свою ногу, и энергично указывала, где класть какой труп. Лишь рабочие показывались на пороге с новой безжизненной ношей, как баба немедленно подпрыгивала к ним, заглядывала быстро в лицо покойнику, сейчас же что-

то соображала и кричала визгливо: «Сюда, сюда, ребята, тут его место», и рабочие повиновались, хотя в то же время добродушно над ней посмеивались.

— Что, Ковалыха, — спросил старый и высокий городской, который показывал из-за башлыка только седые усы и глаза, — еще не нашла себе другого мужа?

— Ишь, зарядил одно и то же, — сердито ответила баба Ковалыха, — не нашла, да не нашла.

— Потому должно быть тебе страшно без него, не ровен час, покойник какой задушит...

— Не бойсь, не задушит, — огрызнулась баба Ковалыха, — это вы все людей душите; пятнадцатый год все с одним и тем же пристаешь, — не надоело?.. Когда уже тебя, проклятого, сюда притарабанят...

— Не бойсь, — ухмыльнулся в башлык полицейский, — я к тебе без этого приду, я ведь человек тебе верный, с гостями каждый сочельник являюсь, по службе, да по дружбе... Не баба, а ведьма, — обратился городской к своим товарищам и рабочим, — но зато и дело свое знает — мастер...

— Бреши, бреши, — крикнула с другого конца залы Ковалыха, взясь около какого-то стола, — целый год без дела шляетесь, а на Рождество выходите покойников собирать, одну работу и знаете!

— А чем я виноват, что их на Рождество столько собирается, — попробовал оправдаться перед рабочими городской. — Рождество особый такой праздник, когда всякий бедный человек страдает... В этот день они на все идут. Я пятнадцать лет здесь с Ковалыхой их пристраиваю, все люди бедные, старики да дети... Ну полно, баба Ковалыха, — сбор полный, всех тебе гостей снесли, счастливо оставаться, веселитесь на здоровье, а нас лихом не понимайте...

Стуча гулко сапогами, городовые и извозчики покинули зал в сопровождении бабы Ковалыхы, которая сердито ковыляла за ними с фонарем в руках и бранясь про себя.

---

## IV

Пока в зале были полицейские и рабочие и слышен был разговор, Сашка не терял присутствия духа и с интересом наблюдал за всем происходившим. Но, когда зал покинули все живые люди и он остался один среди мертвецов, Сашке сделалось жутко. Он сидел, прижавшись к углу, и видел лишь общие очертания тел; лица же мертвецов не были ему видны, да он и не старался приглядываться к ним. Хотя ему было как то не по себе, он все-таки размышлял о том, что он, наконец, у цели и будет владеть необыкновенным талисманом, который навсегда положит конец его бедствиям, и он станет воровать, сколько и где ему будет угодно. Борясь с охватывавшей его робостью и сознавая, что он взялся за опасное и трудное дело, Сашка словно оправдывался тем, что, добывши мертвую свечу, он принесет много пользы людям, что с ее помощью он станет делать много добра. Когда ему это пришло в голову, он старался ободрить самого себя тем, что такая благая цель даст ему право резать покойников и что его идея погашает совершаемый им грех. Вместе с тем, Сашка сердился на себя за то, что он поддавался чувству страха; он вздрагивал всем телом и теснее прижимался к своему углу, когда от движения воздуха колебалось пламя в лампах и по зале, на трупах, стенах и потолке начинали прыгать огромные и страшные тени, под которыми, казалось, оживали и двигались покойники. Ему казалось, что кто-то в противоположном углу дышит и шелестит чем-то. Кто-то царапался в окна и скрипел под полом. Сашку лишь поддерживали сознание и уверенность, что невозможно, чтобы покойники ожили, и, сопротивляясь страху, он в то же время набирался решимости. Не желая проходить по зале, Сашка решил подойти к ближайшему покойнику, вырезать у него жир и, чтобы не смотреть на покойника, сделать операцию с закрытыми глазами. Он полагал вырезать жир из живота и, сейчас же спрятав его в карман, бежать. Сашка достал нож и сидел, трепеща от волнения. Ему в голову невольно забрела мысль о том, не бро-

силь ли все и уйти, так как уже было больно страшно, и только мысль, что Колька, может быть, достанет свечу, удерживала его от бегства. Долго Сашка все не решался выйти из своего угла; он приводил в оправдание своей медлительности предположение, что надо подождать, пока уснет баба Ковалыха, которая может всякую минуту войти и застукать его. Наконец, собрав всю силу воли, он вышел из-за печки, и, сжимая в руке нож, приблизился к первому столу с покойником; дрожа от охватившего его волнения и творя молитву, он погрузил нож в труп, стараясь ни о чем не думать и ничего не слышать, а только исполнить скорее свое ужасное дело. Он не хотел замечать неясного шума, носившегося по зале и приводившего его в трепет. А между тем, трудноуловимое движение и непонятный шорох все росли и увеличивались и, наконец, постепенно превратились в ясные звуки неровных шагов, которые приближались и доносились из-за дверей. В момент Сашка оставил покойника и, дрожа от страха, спрятался на прежнее место за печку.

Он с замиранием сердца видел, как отворилась тяжелая дверь, наполнившая зал скрипом, похожим на треск ломающихся щепок, и в дверях появилась тщедушная фигура бабы Ковалыхы. Старуха держала в руке небольшой фонарь и медленно подвигалась вперед, нюхая воздух. Она приблизилась к первому трупу, подняла свой фонарь, осветила лицо покойника и, покачав головой, поплелась дальше к следующему столу...

«Кого она ищет?» — подумал Сашка, следя за Ковалыхой, которая ковыляла по зале от трупа к трупу, жадно заглядывая в лицо каждому покойнику.

«Не ведьма ли она, в самом деле?» — подумал Сашка, вспомнив слова городского. Он видел, что Ковалыхой овладело беспокойство, ее морщинистое лицо темнело, она бродила между трупами со своим фонарем и Сашка слышал, как она сердито ворчала: «Что за черт, куда же это он запропастился?»

Таинственные поиски старухи среди покойников наводили на Сашку такой страх, что он еле сдерживал сильную

дрожь, боясь выдать себя. Он раскаивался уже, что пробрался в это проклятое здание, где ведьма якшается с мертвецами. Слабая, тщедушная старушка превращалась в его глазах в ужасное существо, и трепетное беспокойство охватило его.

Вдруг старуха остановилась в нескольких шагах от печки и лицо ее сразу преобразилось. Глаза ее сверкнули, по лицу разлилась улыбка злобной радости, от которой у Сашки пошел мороз по коже. Поставив фонарь у своих ног, Ковальха прищурила хитро глаз и стала манить лукаво пальцем.

— Иди, иди, паренек, — зашептала она.

«Кого это она зовет? — необыкновенно изумился и встревожился Сашка, — кого она нашла?»

А старуха продолжала манить пальцем и звать:

— Иди, иди сюда, голубок.

«Да это она меня! — в невероятном ужасе вдруг убедился Сашка. — Господи! Она в самом деле ведьма».

Он видел, что попался и, хотя не знал, что с ним будет делать ведьма, но считал уже себя погибшим. А старуха, выпятив вперед подбородок и двигая впавшими губами, шептала: «Не бойсь, не бойсь, выходи, касатик,», и подзывала его пальцем. Тогда, убедившись, что ему уже не спастись, что он каким-то образом обнаружен проклятой ведьмой, Сашка оставил свой угол и робко остановился, боясь приблизиться к старухе. Ведьма взяла за руку трепещущего парня и заговорила шепотом:

— Отчего ты спрятался, голубок, чего испугался, касатик, скажи, паренек...

Сашка чувствовал себя совершенно бессильным, в полной ее власти...

— Пусти! — только мог прошептать он.

— Куда пустить? Я еле нашла тебя. Ты один сюда явился, не поделившись со мной своей судьбой, а я страсть как люблю о несчастьях людских сказки слушать. Скажи, сизый голубок, отчего ты помер?

Сашка невольно подался назад от такого необыкновенного вопроса старухи.

— Кто помер? Что ты, бабушка, Господь с тобою, чего ты пристала, я живой, я сюда по делу явился...

— Ки, ки, ки, — закашлялась, давясь смехом, старуха, — по делу! Все вы сюда по одному делу являетесь, на жизнь мне горемычную жаловаться, знаю я вас. Ки, ки, ки... Ты, паренек, помер. Теперь я понимаю, отчего ты места своего на столе не занял — потому что ты еще со смертью не примирился... Ки, ки, ки, ки, ки.

Сашка убедился, что ему все удастся разуверить старуху, и он решил поведать ей всю правду.

— Я, бабушка, — сказал Сашка, — пришел сюда мертвую свечу достать, чтобы я везде свободный вход имел и ни в чем не нуждался.

Но старуха даже не удивилась, против ожидания Сашки.

— Да, да, да. Ты такой же, как и все несчастенькие, от фантазии своей погиб. Я вот по твоей исповеди уже вижу, что ты настоящий покойник рождественский; у всякого из вас последняя мечта от беды и горя на сказку похожа, и сколько я уже слышала этих сказок о богатстве на своем веку. Каждый мне последнюю свою мечту приносит.

— Нет, бабушка, это не фантазия, — пришел в отчаяние Сашка. — Мне, бабушка, только человеческий жир нужен, и тогда я все от всех богачей отниму...

— Вот оно что, — ты сюда за жиром человеческим пришел. Плохо же тебе теперь будет, паренек, плохо, не в свою ты компанию затесался; до сих пор сюда в сочельник только честные люди попадали, а как же я с тобой буду, куда тебя дену, тебе ведь нельзя показаться честным людям. Ведь они все смерть приняли, потому что не могли против совести идти, на чужое льститься, кому-либо горе принести.

Но Сашка не хотел упорно согласиться с тем, что он умер, и его еще более пугали слова старухи; он решил во что бы то ни стало уйти от нее, спасти себя. Он собрался с духом и сказал:

— Ну полно, бабушка, шутить со мной. Пусти меня, домой пора...

— Домой тебя завтра понесут, а пока что оставь упря-



миться, ложись на свое место, а то непорядок.

И старуха потащила его за руку к одному из пустых столов. Отчаяние придало Сашке храбрости. Он рванул руку и крикнул:

— Дапустишь ли ты меня, проклятая ведьма?!

— Э! Вот оно как! — запищала старуха, грозно сверкнув глазами. — Так ты еще сопротивляться хочешь? Разве я виновата, что ты помер? Ничего рассказать о своей жизни не хочешь, а дерешься.

Старухахватила его своими цепкими, как щипцы, пальцами за горло и поволокла к столу. Сашка не мог с ней бороться, он хотел кричать, но не мог раскрыть рта. Неподвижно лежа на холодной цинковой доске, он с застывшим ужасом в глазах смотрел на старуху, которая приводила его в порядок, и теперь только, лежа на столе, Сашка убедился, что он такой же, как и все, мертвый, безжизненный.

— Ишь какой, — шептала старуха, — я виновата, что он так хитро угодил сюда, человеческого жира захотел, ки, ки, ки... Думал придти сюда моих мертвецов резать, скажите какой. Ишь, глупый человек! Тут у всех от голода и холода одни кости остались, а он задумал у них жир добывать. Разве у бедных людей бывает жир, весь жир у богачей и сытых людей, которые никогда сюда не попадают. Не мог глупый человек понять, что все несчастье на свете для бедных людей в том и состоит, что богатые люди из-за жира чужой нужды не понимают. Если б не человеческий жир, то разве доставляли бы сюда столько несчастных. Я знаю, будь у тебя жир, то тебе было бы хорошо, да пойди же накопи его.

Сашка слушал старуху и понял, что умер он по своей глупости, потому что он не догадался, что у таких покойников не может быть жира. Тогда ему сделалось жаль своей погибшей жизни, он решил, что это его наказал Господь за грехи. Хотя он примирился с мыслью о том, что он умер, но его все-таки страшило его положение. Он лежал рядом с тем покойником, которого начал было резать перед появлением старухи, и стал размышлять, кто таков его сосед, с которым ему суждено покоиться рядом в «анатомии». Ему хотелось подвинуться и переменить положение, поднять

голову, но он не мог, и это обстоятельство наполняло холодом ужаса его душу. Вдруг слабый стон дошел до его слуха, причем голос стонавшего показался Сашке необыкновенно знакомым. Стоны все увеличивались и росли, и Сашка убедился, что это стонет его сосед. Он не подумал о том, как это покойник может стонать, его это обстоятельство не удивило; но когда он, наконец, убедился, что это голос Кольки, который так же, как и он, отправился за человеческим жиром, он не выдержал. Сашка судорожно рванулся, собрав всю силу, скатился со стола в порыве неимоверного отчаяния и... открыл глаза... Сашка лежал в углу, и сейчас же сообразил, что это был кошмар, что он уснул. Но, хотя он это понял, ужас его не прошел. Ужас сна сменил ужас наяву: стоны Кольки, которые пробудили его и возвратили к жизни, продолжали потрясать его. Стоны слышались около него, и Сашка не мог удержаться от отчаянного крика, когда увидел, что на столе подымается Колька с расширенными от ужаса глазами, мертвенно бледный и страдающий.

Не успел крик Сашки пронестись по зале, как в зал поспешно вбежала баба Ковалыха с фонарем в руках. Увидев поднимающихся покойников, старуха окаменела на месте, выпустив из рук фонарь. Она не могла сообразить, что это происходит такое, и только крик Сашки: «Бабушка, ради Бога, помоги» привел старуху в себя.

\* \* \*

Находясь через несколько минут в сторожке Ковалыхи, приятели рассказывали старухе свои ужасные приключения, причем Сашка присовокупил, обращаясь к Кольке:

— Если б я не заснул, то наверное бы тебя зарезал...

## ЧЕРЕП

### I

Я проходил по кладбищу и наткнулся неожиданно на человеческий черен.

Он спокойно и скромно выглядывал из сочной зелени смоченной недавним дождем травы, на которой капли воды блестели, как мелкие осколки стекла. Казалось, будто скелет высунул из-под земли свою желтую и отполированную временем голову...

Я невольно остановился, почти изумленный этой внезапной встречей, несмотря на то, что произошла она на месте собрания трупов, гробов, скелетов и человеческих костей, где череп представляет предмет, во всяком случае, обыкновенный...

Меня всегда трогательно настраивала благоговейная серьезность кладбищенской тишины, которая гармонично сочетается с простотой насыщающей ее скорби. Каждое дерево, куст и человек словно проникнуты на этой территории смерти сознанием того, что под ними царство бывших людей, слой из мертвецов, скелетов и гробов, где земля кажется жирной от растворившихся в ней человеческих тел. Грустью и строгой тайной овеваны здесь каждый уголок, выпуклый холмик и вытягивающиеся из земли одинаковые в своем разнообразии памятники, как будто вырастающие из могил...

Бог его знает, каким образом этот череп выполз на белый свет в зеленую траву, но он казался чистым, словно старательно вымытым, и я невольно стал разглядывать этого могильного дезертира с чувством суеверного почтения.

Вообще, я скелеты предпочитал трупам. Скелет уже определенная величина, самостоятельная, рассчитывающая если не на вечное, то во всяком случае, на довольно продолжительное существование.

Труп же еще бывший человек, носящий следы и остатки всех его болезней и пороков, таящий в себе совокупность всех причин, приведших его наконец к смерти и гниению.

Скелет держит себя в жизни без всякой нравственной солидарности с телом, хотя подчиняется всем его прихотям, приказам и похоти и, часто, страдает от этого. Он лишь исполняет свой долг в сознании того, что без его поддержки тело не сможет существовать и держаться на земле. Предоставленный самому себе, он великолепно живет, без разлагающихся мускулов и потрохов, долгие годы, о которых телу даже никогда не мечтается. Освободившись наконец после долгого, сутолочного существования от всего того, что носило в себе когда-то жизнь, скелет становится чистоплотным, без червей и мяса. И в то время, как труп вселяет лишь отвращение и ужас, смердит и разлагается, скелет, напротив, вызывает к себе известное расположение; череп его имеет хотя однообразное, но все-таки осмысленное выражение. Он как будто иронизирует своей оскаленной улыбкой над жизнью. И потому люди к нему часто благоволят, и даже носят его изображение в виде брелоков и запонок. Вообще, труп вселяет страх к смерти, а скелет уважение к ней; он примиряет с ней и символизирует ее...

Череп меня заинтриговал. Он словно внимательно следил за мной своими темными впадинами, в которых как будто, после зрачков, еще осталась искра взгляда, и словно ждал, какое я приму относительно него решение. И я уже не мог уйти без него, оставить его здесь на произвол судьбы. Какой-то теплый порыв родил во мне желание унести его с собой и положить на стол настоящий человеческий череп, а не псовый, как у некоторых моих друзей.

Я разостлал на траве носовой платок, положил на него мою кладбищенскую добычу и, завязав па макушке черепа все узлы платка, таинственно понес находку домой. Пальцы мои касались холодной кости и я старался держать мой узелок таким образом, чтобы избежать нескромных взоров прохожих. Но платок не закрывал всего черепа, и когда я бросал взгляд на свою ношу, то невольно встречался гла-

зами с одной орбитой черепа, в которой мелькало лукавство.

«Неси, неси», — как будто говорил этот взгляд.

Придя домой, я стал у окна в позе Гамлета с черепом в руках и стал внимательно рассматривать эту, чью-то бывшую голову. Я убедился, что это прекрасно сохранившийся экземпляр с великолепными зубами. Налюбовавшись вдоволь своим приобретением, я наконец оставил его в покое, установив на своем письменном столе. Взглянув на него еще со стороны несколько раз, я отправился по своим делам в город.

Но удивительное дело, какое-то странное чувство стало томить меня; не то беспокойство, не то тоска. И, стараясь разобраться в причинах этого непонятного состояния, я мог только определенно убедиться, что меня что-то влечет домой, словно меня там кто-то ждет. Легкая грусть дразнила мои нервы, и я, наконец, должен был сознаться, что я нахожусь под впечатлением черепа, который я оставил дома, что я о нем беспрестанно думаю, и что именно он влечет меня к себе.

Тогда я стал бороться с определенными мыслями о моем кладбищенском госте, но мозги мои никак не хотели отделяться от них, мысли о нем словно увязли в них и наконец, побежденный, я подчинился потребности свидания с ним и возвратился домой ранее обыкновенного.

## II

Был уже вечер, темно. Вошел я в свой кабинет, сопровождаемый сильным биением сердца и, не зажигая огня, немедленно отыскал глазами череп, который лежал на столе, освещенный луной, заглядывавшей в окно. Я сразу встретился с его взглядом и мне показалось, что он глядит на меня исподлюбья, как будто недовольный чем-то. И странно, я почувствовал себя словно виноватым. Тогда, чтобы избавиться от моих душевных переживаний, неуместных для

серьезного человека, я поспешно зажег лампу и вслед за этим немедленно, руководимый какой-то потребностью, взял в руки череп.

Может быть, я это сделал с целью успокоить мои нервы, я не знаю, но порыв мой был скорее инстинктивный, чем сознательный. Я долго вертел череп в руках и сначала чувствовал себя как будто увереннее, но постепенно ужасное подозрение стало руководить мной.

Я не застал череп на том месте, на котором я его оставил!

Мне казалось, что я его поставил с правой стороны чернильницы, а он оказался с левой. Как это могло произойти, я не мог постичь, и струйки страха стали сползать по нервам к моей душе. Она, как могла, сопротивлялась им, но никакие резоны не могли преодолеть росшей уверенности в наличности непостижимого явления...

Тревога была непродолжительна. Рассудок в конце концов взял свое, приступ досады смел страх и освежил несколько мое настроение. Пожурив себя за свою неосновательную мнительность и уверенный, что я просто забыл, куда раньше положил череп, я поставил его обратно на стол. Хорошо запомнив, что он с правой стороны чернильницы, я быстро разделся и лег в постель, почти успокоенный.

Вытянувшись под одеялом, я закрыл глаза; мне стало даже стыдно моей трусости, и я решил не думать больше о черепе. Но я только старался забыть о нем; сквозь все мои мысли о моих делах и знакомых он выползал в моем воображении и принимался тревожить его. Тут я поймал себя на том, что я беспрестанно на него взглядываю и встречаюсь со взором его орбит. Тогда, чтобы покончить с этой ерундой, я потушил лампу и завернулся в одеяло с головой, искренно сожалея, что притащил сюда эту беспокойную костяную коробку.

Но я не мог уснуть. Меня влекло к черепу! Это был нестерпимый позыв, и, не будучи в силах совладать с ним, я все-таки выглянул из-под одеяла и в темноте нашел его глазами. Хотя отблеск луны не касался его, но он четко и выпукло выявлялся посреди моего стола, и даже, как будто,

обратив ко мне свои темные орбиты, ждал меня: вот-вот заговорит!

Вздорная мысль об этом снова возвратила меня к действительности и нелепость моего состояния стала для меня очевидной. Мне вся эта история наконец надоела. Я решительно вскочил с постели, схватил газету, набросил ее на костяное темя, закрыл череп и, возвратившись в постель, повернулся лицом к стене.

«Завтра надо от него избавиться, — подумал я. — Бог с ним, не стоит из-за всякой дряни портить себе нервы».

### III

Я закрыл глаза и, собираясь уснуть, принялся думать о том, кому бы подарить этот череп и вообще, что с ним сделать. И потому забыть о черепе я не мог, а наоборот, он настойчиво продолжал занимать мое воображение. Я отбивался от мыслей о нем, негодовал даже, но тяготение к нему брало верх. И, тогда, просто для того, чтобы уступить своей психической потребности и затем уже окончательно успокоиться для сна, я повернул лениво лицо к черепу.

На миг я словно перестал жить: череп смотрел на меня в упор во все свои огромные орбиты.

Он как будто торжествовал — газеты на нем не было. Он сбросил ее с себя, она белела на полу.

Когда момент состояния, равного бесчувствию, ослабел и мысль моя опять заработала, я понял, что я пережил припадок такого ужаса, какой даже недоступен определению. Но сменивший его уже сознательный страх вызвал во мне порыв иступленного отчаяния. Моя судьба висела на волоске, необходимо было действовать немедленно, чтобы успеть спасти себя.

Поведение черепа было ясно, и становилось очевидным, что кто-нибудь из нас должен погибнуть.

Мой взор уже не избегал вида этого ужасного гостя, свалившегося из ада в мою жизнь. Мы долго, скрестивши

взгляды, созерцали друг друга пред решительным боем.

Я был окружен ужасом, и безвыходность моего положения снабжала меня силой для борьбы. Я чувствовал больше, чем понимал, что только посредством уничтожения этого черепа возможно мое освобождение. Бешеным прыжком я очутился около стола и мои ладони и пальцы ощутили в своей власти упругую костяную массу, холодную и скользкую и необыкновенно отвратительную. Это чувство острого отвращения впилося в меня тысячами жал, и я, в пароксизме невыносимой ненависти, стал колотить проклятым черепом о стол, о стену, душил его в потребности раздавить, раздробить его на куски. Череп сопротивлялся с дьявольской силой. Он при каждом ударе вырывался из моих рук, но я не выпускал его, прижимал к груди, сдавливал коленями, всадил пальцы в его орбиты и старался разорвать его. Все мое существо было поглощено потребностью расколоть этот угловатый костяной шар, который словно стонал и скрипел от боли и ярости в моих руках под сыпавшимися на него ударами, толчками, под напором всех моих мускулов. Он вертелся в моих руках, хватал зубами мои пальцы, колол и кусал руки, цеплялся за мое белье. И хотя его сопротивление увеличивало мои силы, но меня наконец стало одолевать опасение, что борьба моя безнадежна, что кость не хочет поддаваться моей ярости и что приближается момент, когда мне придется уступить своему врагу и бесповоротно погибнуть. Тогда в последних усилиях я судорожно сдавил череп и вскочил на подоконник; удерживая из всей мочи своего противника, я одной рукой старался разбить стекло с целью выбросить его за окно и таким образом наконец освободиться от его близости, присутствия и даваемого им ужаса. Но когда от моего бешеного удара звон стекол откликнулся по всей комнате, в эту последнюю минуту, череп сделал отчаянное, порывистое движение в моих объятиях, словно оттолкнул меня, и, вырвавшись, бросился вниз! Подпрыгивая по полу с гулким хохотом, почти с криком торжества, он, перевернувшись несколько раз, стремительно закатился под мою кровать и затих там.



Хотя поражение ощущалось полным моим существом, мне ничего не оставалось, как продолжать борьбу. Моя беспомощность посылала меня на дальнейший бой, моя беззащитность заставляла меня снова броситься на замогильного противника. Я с рыданием ярости соскочил с подоконника, схватил мою палку и, стоя на коленях, стал шарить палкой под кроватью. Произошла новая схватка. Моя палка скоро настигла череп в углу, ударила его и откатила. Затем она стала хватать его, стараясь зацепить. Череп вертелся и гудел под ее ударами, метался и, наконец, медленно выглянул из-под кровати.

Уцепившись за палку, он добрался до ножки моего стола и улегся здесь, не спуская с меня своих глубоких орбит. Я, в свою очередь, крайне обессиленный этой борьбой, опустился в изнеможении на свою кровать и уже не старался избегать взора черепа. Беспомощность иногда успокаивает, и я не видел ничего, кроме своего ужасного врага.

Мы долго созерцали друг друга, скрестивши взоры, и вот, постепенно, почти незаметно для меня, темный, полный печальной холодности взгляд черепа стал стусеивать, смягчать мой страх, которого раньше я словно требовал и к которому стремился. И против моей воли, совершенно неожиданно для себя, я тихо обратился к черепу с вопросом:

— Что ты от меня хочешь?

Череп медленно раздвинул, словно на резиновых связках, свои желтые и крепкие челюсти, и я почувствовал его ответ, потому что череп говорил как-то без проявления голоса, хотя каждое слово его отчетливо достигало меня и попадало в мое внимание.

— Я? — удивлялся он. — Я, кажется, тебя не трогал и к тебе не стремился. Ты меня похитил с кладбища и притащил сюда. Ты ведь меня искал, значит, я тебе нужен.

Я не нашел, что сказать черепу. Он был прав, и виновато, едва не плача, я только мог проговорить:

— Мне страшно!

Я словно просил помощи у того, кто окутывал меня этим ужасом. И меня достигло то впечатление, которое было

вызвано в черепе моими словами. Я получил такой ответ:

— Почему ты меня боишься, что во мне страшного? Ты на меня бросаешься, швыряешь, бьешь меня, тогда как я тебя не трогал, не обижаю и, вообще, не причиняю тебе никакого вреда.

— Я не знаю, что со мной, почему я притащил тебя сюда и не знаю, что ты от меня хочешь и что со мной будет.

Я находился в крайне подавленном состоянии, и все мое внимание, чувство и зрение было сосредоточено на лежащем у моих ног черепе, который определенно приобрел надо мной власть. Я сознавал, что я теперь подчинен ему и что я никогда не освобожусь от этого подчинения. Я не понимал значения этой силы, но она вызывала во мне ужас неимоверной ненависти к этому обрубку скелета, куску бывшего человека. А череп, между тем, дал мне следующий ответ:

— Я от тебя ничего не хочу. Я меньше всего стремился к тебе. Но ты стал нуждаться во мне, и вот я здесь! Уже до того, когда ты нашел меня, ты меня уже чувствовал в себе, приближался ко мне своей душой, искал меня ею и только вследствие этого ты отправился на кладбище и набрел на меня. В жизни нет случайностей, в ней все согласовано, она состоит и творится вся из результатов предыдущего. И я явился отвечать тебе на твои вопросы, от решения которых теперь ты зависишь. Ты меня боишься, хотя я твоя необходимость и твое спасение; я принес тебе правду, которую ты хочешь обойти, но к которой неизбежно толкает тебя твоя жизнь.

Я все понимал и слушал череп без протеста и жалобы. И чем более я убеждался, что он прав и что он мне лишь объясняет то, что я чувствовал раньше всем своим существом, тем сильнее рвалась из моей души ненависть к нему.

— Я знаю, — прошептал я в острой тоске, — ты моя смерть.

Я понимал, что со смертью трудно бороться, что она в конце концов неизбежна, хотя борьба с ней необходима. Но я никогда не предполагал, что я с ней когда-нибудь встречу так ужасно просто, лицом к лицу. Вот почему я

так растерялся, когда сообразил всю сущность моей истории с черепом.

— Ты моя смерть, ты моя смерть, — твердил я.

Я больше ничего не видел, даже силуэтов моей комнаты и мебели, даже кровати, на которой я сидел. Я созерцал только череп, дальше его и вокруг него уже для меня ничего не существовало. Он же продолжал:

— Я твоя совесть; вы, люди, меня потому боитесь, что я все знаю, даже то плохое, что вы не делали, но к чему были способны, что желали делать, но, по различным причинам, не совершили.

Чем более увеличивалась опасность, тем безумнее металась во мне моя неистовая ненависть к черепу. И когда я убедился, что он все знает о жизни моей души, моя ярость была равна моему ужасу.

— Теперь я тебя уже не оставляю, ты дошел до той точки твоей жизни, когда человек нуждается во мне для того, чтобы я ему заменил его самого.

— Ты моя смерть, ты моя смерть! — беспрерывно лепетал я в страдании перед смертью, изнемогая от могучей потребности спастись от нее, продолжать жизнь. Мою мысль и душу освещала одна мысль, что только уничтожением черепа, вместе с находившейся в нем моей совестью, я уничтожу конец моей жизни и стану свободным, и что я потом ни буду делать, как ни буду жить, я буду спокоен, не буду бояться будущей жизни и смерти и достигну наконец полного человеческого счастья.

И одновременно во мне жили два разнородных чувства: страх перед смертью и трепетная надежда на бессмертного жизнь. Затаив в себе волнение и присмирив, я стал медленно, в последней надежде, шарить около себя рукой, потому что, на счастье, я вспомнил одно обстоятельство, которое в последнюю минуту влило в меня острую надежду на благополучный исход моего приключения.

Я искал мой топорик, которым я колол щепки и забивал гвозди. Этот топорик всегда лежал около печки сейчас же у моей кровати, в том конце, у которого я сидел. Я очень скоро ощутил его пальцами, и холодок его лезвия настоя-

щей радостью промчался по моим нервам. Еще минута, и ручка топора была уже твердо зажата в моей руке. Я старался, в неимоверном напряжении всей моей воли, не выдать себя ни одним движением. Моя хитрость оправдала себя, череп не выразил никакого беспокойства, тени его орбит по-прежнему с холодной печалью глядели на меня. И, я, чтобы до конца обмануть его внимание, еще с большей тщательностью вглядывался в его скулистые черты, и наконец, когда я был уже в себе уверен, я внезапно опустился перед черепом на колени, взмахнул тяжестью топорика, и через секунду его лезвие со страшным ударом впилося в середину темени врага. Череп крикнул, отшатнулся и хотел было ускользнуть от второго удара, но я наложил на него другую руку, задержал его и стал наносить топориком беспощадные удары.

Тут решалась моя участь, и нельзя было промахнуться, необходимо было довести преступление до конца. Проклятый череп трещал под моими ударами, его кости ломались с сухим и жестким треском, кровь заливала мои руки и наконец, когда я увидел его окровавленные куски с самоуверенными орбитами по обеим сторонам моих колен, я вскочил на ноги, швырнул топорик на пол и быстро выбежал из комнаты. Затем я, весь дрожа от волнения, быстро оделся, запер на замок дверь и со всех ног бросился вон от проклятого места с тем, чтобы больше никогда туда не возвращаться и начать новую счастливую жизнь после такой победы, какой еще не удостаивался ни один человек на свете.

Я стал шататься по городу, опьяненный своим успехом, почти счастливый, с взбитыми нервами, без усталости. Но затем, постепенно, мое душевное настроение стало как будто понижаться. В душу мою снова стал возвращаться страх. Еще не светало, кругом было тихо, ночь рождала свои безмолвные и жуткие звуки и я почувствовал, что я окружен вселенной, необыкновенно страшной своей темнотой и бесконечностью, в которой я оказался одиноким и беспомощным, без угла и пристанища. И в то же время власть черепа снова приближалась ко мне, череп стал опять влечь меня к себе с той же силой, как до моего преступления, и я

постиг, что преступление мое было неправильное и бесполезное, что я допустил безумную, непоправимую ошибку, которая должна погубить меня и привести к тому концу, от которого я хотел убежать и спастись. И, блуждая по городу, садам, по всем закоулкам и площадям, я неимоверно страдал от сознания того, что спастись я мог только тогда от гибели, если бы я не отходил от черепа, сторожил бы его, сделал бы его своим пленником и ни на минуту, ни на миг не расставался бы с ним. И все это давалось мне в руки, сама судьба послала мне его для моего спасения и счастья, а я так изменнически, коварно и подло поступил с ним. И я понял, что никуда и никогда я не укроюсь от раскаяния и утрызения совести, которым не будет конца...

---

Эта рукопись найдена была в один осенний день при самоубийце, который висел в городском саду. Руки несчастного были в ссадинах, царапинах, порезах и окровавлены, так что сначала даже явилось подозрение о насильственной смерти. Но затем следствие доказало наличие самоубийства.

## МОЙ ЧАС

Весна была, как лето, жаркая и пряная. Больные выбрались в сад, который был еще голый, без зелени, но уже полный вкусного аромата. От легкого, теплого и мягкого ветерка по саду пробегал трепет радости, а в воздухе чудились улыбка и словно вздох облегчения.

Больные разместились по саду и каждый вел себя по особенностям своей болезни. Одни сосредоточенно смотрели вверх, другие с таким же глубоким вниманием смотрели себе под ноги. Одни сидели, другие двигались по тропинкам и дорожкам аллей, одни молчали, в то время как другие рассуждали сами с собой, каждый по-своему, то размахивая руками, пылко и сердито, то бормоча что-то про себя, никого не видя и ни на что не обращая внимания.

Доктор Антонов также прельстился погодой и долго стоял перед лестницей на веранде, оглядывая сад, небо и больных. Наконец он спустился по лестнице, подошел к первому больному, спокойно сидевшему на скамейке, занял около него место и ласково, но осторожно заговорил с ним.

— Мы почти с вами не знакомы, вы здесь недавно и я не успел к вам приглядеться.

Больной приветливо улыбнулся, и доктор за это дружелюбно пожал ему руку.

— Мне здесь хорошо, — просто обратился к нему больной. И эта непосредственность хотя удивила как будто Антонова, но и понравилась ему. Этот больной вызвал его симпатию, ему захотелось побеседовать с ним запросто, по-приятельски, без всякой докторской сноровки.

— У вас очень хороший вид, мне это крайне приятно, — искренне сознался Антонов, — хотя вы были и не под моим наблюдением, но сейчас заметно, что вы определенно поправляетесь. Я радуюсь за вас.

— Сказать вам откровенно, — произнес со светлой улыбкой больной, — я вовсе не был болен.

Доктор не мог удержаться от смеха, так ему понравился уверенный тон его соседа.

— По какому же недоразумению вы попали сюда? — пошутил он, ласково глядя на своего собеседника в халате.

— Так вышло, — простодушно ответил больной, не смущаясь недоверием доктора. Последний, по-видимому, заинтересовался завязывающейся темой и спросил, стараясь говорить серьезно, дабы не нарушить настроения больного:

— Если вы здоровы, то почему же вас здесь держат? Я бы на вашем месте ушел отсюда. Смотрите, как хорошо, весна, отовсюду выползает жизнь, проглядывает будущее, рвется свежая, нарождающаяся сила...

Антонов внимательно следил за больным, но последний отнесся к его словам более чем спокойно, даже с легким пожатием плеч.

— Чем же здесь плохо? — с недоумением спросил он. — Разве здесь нет весны и всех ее прелестей?

Антонов не скрывал своего удивления.

— Но там, за этими стенами, теперь жизнь бьет ключом, другие интересы.

Неизвестно, что дальше продолжал бы говорить доктор, но то резкое движение раздражения, которое сделал больной, невольно заставило его прервать свою речь.

— Какие интересы, какая жизнь? — почти гневно воскликнул он.

Антонов стал серьезен и сосредоточен. Больной внезапно его обеспокоил, он не мог разобраться в его психическом уклоне.

— Не волнуйтесь, друг мой, — сказал он.

— Как же не волноваться, когда люди не понимают простой правды, а ценят гадость.

— Успокойтесь, — примирительно настаивал доктор, желая уклониться от темы, которая вне его ожидания, взволновала больного, — если вам здесь хорошо, и вы довольны, то и прекрасно, я очень рад.

Слова доктора произвели как раз обратное впечатление на его собеседника. Взор его заискрился, на щеках всплыл румянец, а нижняя губа затрепетала.

— Во всяком случае, сейчас мне лучше, чем раньше. Я теперь живу чище, красивее и правдивее. О! я ничего не по-

терял, очутившись здесь. Неужели большая беда в том, что я лишился квартиры с несколькими ненужными мне комнатами и мебелью, лишился театров, изысканного платья, кафе с кокотками, полиции, трамвая, оригинальных и ненужных удобств, музыки, всего этого стекла жизни, ее искусственных условий. Отсутствие всего того, что вы называете нормальной жизнью, не лишает меня благ существования. Жизнь, от которой я ушел, меня уже не обманет, все необходимое человеку я имею, никого не затрудняя и никого не мучая.

Больной вздохнул и продолжал с новым оживлением. Заметно было, что вопрос, о котором он говорит, ему ценен и близок.

— Все то, что делают люди, в большинстве случаев никому не нужно, все эти поезда, фабрики, труд, заботы и борьба, все это фальшь и неправда. Я вот теперь живу в учреждении, которое называется сумасшедшим домом, меня все жалеют и это меня приводит в полное недоумение. Я чувствую себя превосходно и полагаю, что все эти сочувствующие мне люди должны мне только завидовать. Я ни от кого ничего не требую и от меня никто не зависит, никто меня не боится, я всех люблю и убежден, что никто на меня не сердится. Странные люди! Они воображают, что я должен страдать, потому что лишен всего того, чем обладают они. Меня это крайне забавляет, потому что я, в свою очередь, жалею их, так как они живут еще в тех ужасных условиях, от которых я уже избавлен.

Я могу существовать, никого не мучая и не обижая, не создавая своей жизнью недовольных и неравных. Но чтобы постичь простую истину, что люди живут обманом и создают этим много ненужных страданий другим, необходим был тот ужас, который я пережил, но который научил меня правде и освободил от лжи и лишних поступков.

Антонов слушал больного с глубоким вниманием. Связная и последовательная речь последнего произвела, по-видимому, на доктора впечатление. Он не замечал в его словах признаков безумия, и когда тот закончил свою речь, то невольно спросил:



— Как же это произошло?

Больной словно только ждал такого вопроса и немедленно приступил к своему рассказу.

...Обо всем происшедшем со мной, о том, как я впервые постиг главное в моей жизни, я расскажу искренне и просто...

Однажды я возвратился домой после еще робкого весеннего дня, который я проводил до первых уличных огней, набухавших в своих фонарях. Воздух и небо уже лишились своих хрустальных красок и блеска, и внешность города стала аляповатой и мизерной...

Я жил в большом, густонаселенном доме, в центре огромного города с образцовыми мостовыми, электричеством, телефоном, полицией, врачами, войсками и аптеками, где всякое происшествие создавало тут же необходимую помощь и противодействие. Здесь все давало право на спокойствие и безопасность и, кажется, чего мне было бояться?

А между тем, лишь я вошел в свою квартиру и затворил дверь, как меня вдруг стиснула тревога. Без всякой причины я едва не обратился в бегство, и меня только удержало чувство, почти сознание, что там, за дверью, меня ждет еще большая опасность...

Тут мне стало необыкновенно страшно, и сейчас же ровную тишину квартиры внезапно пронизал, как будто острейшим стоном, протяжный, тонкий вой собаки. Безумный вой...

Обдавший меня нестерпимый ужас внедрился в меня и был беспределен...

Что это за собака, откуда она взялась в моей спокойной квартире?

Словно стал шелушиться мой мозг, стали обрываться, терять гибкость мои мысли. Ужас состоял во всей этой непостижимости, он создавался силой тоски, насыщавшей таинственный вой, этим непрерывным звуком отчаяния, обещающим несчастье и горе...

Воплем страдающего животного собака внесла такую острую тревогу, что приближение гибели стало для меня оче-

видным. Я не понимал откуда, должна была явиться катастрофа, но что час моих страданий был неминуем, говорил мне ожог тягучего страха, улегшийся на моей бедной душе.

С возгласом отчаяния, я упал в кресло и замер...

Сразу обессиленный набросившимися на меня страданиями, я не готовился противостоять чем-нибудь своей участи. С покорностью жертвы я прислушивался к тянувшемуся, непрерывному вою проклятой собаки, пока, наконец, он постепенно не уплыл в неясных волнах тишины...

Но я уже запутался в тенетах какого-то безумия, и было очевидно, что мне уже никогда не выбраться из этой западни; я знал, что человек в своей судьбе не имеет никакого значения.

Я вошел в полосу кошмара. Вся сверхъестественность становилась для меня нормальной и правдивой, грань разума ступеньвалась; страшась, я ничего определенного не боялся...

Я уткнулся в спинку моего кресла в потребности спрятаться, скрыться в его пружинах. Я нуждался в защите, но ничего не могло отогнать надвигающуюся неизбежность...

Грядущая катастрофа чуялась всеми моими нервами, инстинктом и кровью, замиравшей в моих жилах. Я ощущал, как она вдруг останавливалась в своем беге, затем снова устремлялась вперед, и опять прекращала свое движение по пути к сердцу...

Как испуганная мышь, я озирался из своего кресла, и всякая вещь, стены и занавеси страшили меня; электрическая лампочка на моем письменном столе, казалось, грозно устремила на меня свои напрягавшиеся, раскаленные нити. В жалкой беспомощности я не порывался даже звать на помощь, кричать или двигаться...

Из открытых дверей выглянула на меня темнота соседней комнаты, и ее непроницаемый черный воздух словно заморозил мой взор и внимание. С большой жадностью они присосались к этой густой, матовой тьме, плотно сочетавшейся с упругой, мрачной тишиной, в которой засела какая-то власть. Подчиняя себе темноту, она зарождала в ней особую жизнь, и мое изощренное страхом внимание стало улав-

ливать в черных пластах темного пространства признаки бесшумного движения, замерещились черные круги, черные искры, зигзаги и черные волны... Причудливые черные тени, без формы и очертаний, поплыли и зашатались в крошечной тьме, где развивался и облекался в кошмарный формы мой рок, предчувствие которого горячим страхом обволакивало мою душу.

Как воздуха, в надежде облегчения, я жаждал хоть каких-нибудь реальных звуков, но все было мертво, даже звук моего горла был замкнут и не слышно было тупых биений моего сердца. От меня стало удаляться сознание моего реального существования, пропал учет времени, обстоятельств и места. Расплывчатыми остатками своего мышления я пытался ухватиться за последнюю надежду спасения, вызвать в моей памяти резкое представление о той жизни, из которой я только что ушел, гарантировавшей мне своими условиями безопасность и спокойствие.

Но загоревшиеся на миг в моем воображении картины моего прошедшего благополучия лишь усилили мою трагедию. Все то, что раньше казалось мне идеалом безопасности, организовавшей жизнь, явилось теперь совершенно в другом виде и значении...

Медленно и решительно начала наступать на меня тишина и под напором надвигавшейся с ней темноты стала меркнуть электрическая лампочка на моем столе, уходит последняя моя связь с жизнью на земле.

Она как будто боролась и не хотела покидать меня, чтобы не отдавать меня моей страшной судьбе. Словно кровью налились в последние секунды ее потускневшие нити, и наконец свет ушел, погас; темнота жадно прильнула ко мне, с тупой беспощадностью вперила в мои очи беспросветный взгляд могилы и отдала тишине.

Наступил промежуток полной бессознательности, округление смерти, но вот среди тяжелого дыхания мрака, как будто издалека, начало назревать отражение какой-то жизни, в совершенно исключительной форме. Оно крепло, становилось все отчетливее, стало получать выражение движений, которые, превращаясь в суетоку, полусоздавали

картинность уличного оживления. Зрело воплощение гущи городской жизни, которая, несмотря на свою яркость и силу, наступала без всяких реальных звуков, недоступная слуху; нарождавшаяся картина воспринималась одними моими чувствами...

Меня стало достигать горячее дыхание огромного города, превшего в объятиях жирных и отвратительных выделений, которые скоплялись в исполинские облака. Медленно и тяжело ворочаясь, они вздувались и лопались, как громадные нарывы, обнажая длинные языки мутных огней.

Они лениво мелькали, пропадали и снова возрождались среди гнилых и мрачных туч, и сопровождались гулко бурлившими волнами тревожных колоколов. Их беспокойные набаты несли непосильную для человечества панику. То был стихийный зов к мести и беспощадности.

Тогда под впечатлением чувства, которому нет определения, моя душа как будто разложилась на свои составные части, и ко мне подошло то совершенное страдание, которого я не предвидел и до сих пор не понимал. Оно заключалось в порыве острого раскаяния, сознания своей вины, справедливости явившейся мести. Моя память словно обнажилась, и я стал понимать то, чего я в течении всей моей жизни не понимал.

Мертвые звуки вокруг меня вздымались, ширились и росли, и разразились необузданным ржанием, способным свести с ума весь мир.

Адские раскаты его неслись с яростью урагана, и три исполинские, черные лошадиные морды стали выявляться из глыбы тьмы. Слово выковывались по мере приближения четкие очертания их голов со вздутыми, толстыми, как корабельные канаты, переплетающимися жилами. Грузно отвисали, взборожденные трещинами, их мясистые губы, оскаливались полосы длинных зубов и выпячивались широкие круглые ноздри, из которых со страшным шумом, порывисто бил мокрый пар...

Неистовая энергия и жестокая решительность сказывались в порывах скачущих животных, в взмахх их могучих ног; ненасытная злоба отражалась в их огромных, све-

тившихся, как лощеное олово, глазах. Твердое приближение их сдавливало меня, на меня словно ложилась огромная тяжесть, бесконечная, как пространство.

Жизнь моя оканчивалась, прекращались мои чувствования, мышления, наслаждения, работа, проявления плохих и хороших поступков, из которых складывалась до сих пор моя жизнь. И в этот мой последний час, который несли мне три черных дьявола, раскаяние, как пьявка, всосалось в мою совесть. Я хорошо вспомнил теперь этих жеребцов, с которыми я всегда сталкивался на всех путях моей жизни, и я теперь искренне удивлялся, как раньше с ними не считался, не замечал их мощных фигур, их силы и власти, не оценивал той колоссальной и важной работы, которую они производили для меня и для таких, как я. Я понял теперь, что всегда к ним относился, как к стихии, как к природе, которая создана для меня, но которая не требует моей заботы и благодарности. Моя вина заключалась в том, что я, такой ничтожный и слабый человек, мог эксплуатировать эту силу, непонятно подчинявшуюся мне, но теперь озлобившуюся и вырвавшуюся из этого подчинения.

И, находясь в клещах зажавшего меня ужаса, я вместе с тем сознавал, что все так странно происходило, что я, будучи, в сущности, всегда во власти этих сильных животных, без помощи которых невозможно было мое существование, не знал этого, не боялся их и не ценил их значения в моей жизни, и не понимал, как это произошло, что сами жеребцы, имея такую власть и силу, не чувствовали ее и допускали, чтобы я мог их мучить и эксплуатировать.

А теперь они, как вихрь, неслись вперед, и мир содрогался от их топота; словно взрывы издавали страшные удары их копыт, точно удары грома соперничали в своей силе и интенсивности. Я как будто растворялся в этом беззвучном хаосе, который приближался, шел на меня, слабое, беспомощное создание. Душа моя была уже чересчур загромождена количеством сбившихся в ней кошмаров, пока, наконец, перегруженная ими, она не опрокинулась...

Черный сплошной вал взгромоздился предо мной и, подхваченный ураганом чувств и впечатлений, я внезапно

вскочил с судорожной потребностью защищаться.

Я стал действовать, как вихрь. Вся мебель зашевелилась под толчками моих рук; диван, комод, умывальник, пианино, все стало с невероятной быстротой накапливаться перед дверью с целью во что бы то ни стало воспрепятствовать чудовищам проникнуть ко мне для уничтожения меня и всего близкого мне, О! если бы я мог осуществить требования моей энергии, которая в эту минуту бросала меня из одного конца комнаты в другой. Я сдвинул бы с места стены, потолок, взгромоздил бы одно на другое все здания, камни, башни, деревья, чтобы завалить трещащую под напором дьявольской силы, целого ада дверь...

Но никакая сила не могла остановить этой проклятой стихии, она ворвалась с дымом и пламенем, я был опрокинут, схвачен и зажат в глубине своего бессилия, которое унесло меня с моей памятью и воплем...

И принесло сюда...

## ПРЕСТУПЛЕНИЕ

### I

Поручик Николай Семенов, устав шагать из угла в угол в караульной комнате Н-ой тюрьмы, бросился на диван и, заломив руки под голову, мрачно уставился в закоптелый потолок. Семенов знал, что ему не удастся заснуть, но он надеялся хоть несколько успокоиться. Тоска угнетала его, он чувствовал потребность вырваться отсюда, из этого здания, куда не доносилось никаких определенных звуков, где царила угрюмая тишина, словно в погребе или могиле.

Поручик никогда не ощущал такого тяжелого состояния, как теперь, в ожидании смертной казни политического преступника Руссова. Это было какое-то особенное волнение, крайне острое и болезненное. Представляя себе будущую сцену казни, Семенов трусил; он не знал, как освободиться от тяжелой и неприятной обязанности.

— Поручик, вы спите? — прервал раздумье Семенова робкий голос вошедшего в караульную человека.

Поручик нервно вскочил и увидел помощника начальника тюрьмы Савельева, белобрысого и щедедушного чиновника.

— Пожалуйста, пожалуйста! — сказал Семенов, довольный, что есть с кем отвести душу.

Савельев медленно опустился на табурет и уставился на офицера глазами, в которых была печаль. И Семенов понял, что этот съежившийся пред ним человек носит в душе одинаковую с ним тяжесть и боится одиночества. После короткого молчания Савельев тяжело вздохнул и прошептал боязливо:

— Скоро!.. — и видно было, как он сдерживает лихорадочную дрожь.

— Скоро!.. — повторил он, и поручик вздрогнул, бросив на своего собеседника испуганный взгляд.

— Поручик, — снова прервал мрачное молчание Саве-

льев таким тоном, как будто он нашел спасение, — хотите водки?... ей-Богу, вышейте!

— А есть? — недоверчиво спросил Семенов, и лицо его оживилось.

Савельев заволновался и, видимо, обрадовался возможности принести облегчение Семенову.

— Как же, как же, — заговорил он, — есть, есть. Я уже выпил несколько раз, но я много не могу: я слабый, а вы пейте.

Савельев выбежал и скоро возвратился с бутылкой и двумя стаканами, которые таинственно поставил на стол.

— Надо выпить, легче... — шептал он любовно, наполняя стаканы.

У Савельева брызнули слезы из глаз. Видно было, что он насильно вливает в себя эту водку; поручик крикнул, приободрился и загадочно, как будто что-то вспомнил, сказал, усмехнувшись:

— Вот точно так в Манчжурии перед боем выпивали. Человек тогда прямее делается. Была не была, — один конец. Вот оно что!..

— Скажите, поручик, — наклонился к нему Савельев, — что, страшно там, на войне?

— Черт его знает! Я и сам не разберу: и страшно, и нет. Судьба уж такая, ничего не поделаешь. Конечно, и жить хочется, потому, вы понимаете, второй раз не родишься...

Семенов налил стакан и выпил залпом. Оживление Савельева пропало, и он опять впал в уныние.

— Скоро!... — вдруг опять невольно прошептал он, и Семенова от испуга охватила ярость. Он вскочил и злобно заговорил:

— Ах, хоть бы скорее, надоело! Тянут, тянут, а чего бы, кажется, проще, взять и прикончить сразу, долго ли?! Нет, церемонии выдумывают, канитель, словно свадьбу справляют!

Поручик бегал в волнении по караульной и высказывал все, что таилось у него на душе. Ему хотелось скандалить, кричать, ссориться с кем-нибудь.

— Я не понимаю, на что я им? Что он может им сде-



лать? Они будут вешать какого-то парня, а я должен любоваться этим и защищать их, — от кого? Нельзя без парада!.. Что я понимаю, наконец, в этом деле?!.. Война — это одно, на войне совсем иначе...

Он упал на диван и тяжело простонал.

— Ах, как мне не хочется, как не хочется! Раз приговариваете, — злобно заговорил он, — пришли бы и сами вешали, собственными руками! А то на нашу совесть, на чужой грех! Помилуйте, — едва не плача, продолжал поручик, — я офицер, а не палач и не разбойник. Наконец, я вчера в церкви был, Богу молился, а теперь я должен смотреть, как какого-то парня будут жизни лишать!..

У Семенова невольно вырывался протест честного человека против злоупотребления его долгом, его привычкой к повиновению. Но в то же время у него не являлось даже мысли выразить этот протест каким-нибудь реальным действием.

Вдруг дверь отворилась, и в ней, словно на экране, выросла фигура плотного и красивого жандарма. Савельев слегка вскрикнул и вместе с поручиком застыл на месте. Для них ясен был приход жандарма, словно вынырнувшего из тьмы коридора.

— Ваше благородие, пора! — сказал отчетливо жандарм, — пожалуйста, ждут, все готово!

Он приложил пальцы к козырьку и вышел, осторожно закрыв за собой дверь. Савельев совсем растерялся; взор его блуждал по комнате, словно в поисках спасения... Наконец, схватившись за голову, он выбежал из караульной. Семенов же, белый, как извесь, машинально натянул на голову фуражку, оправил на себе шинель и оружие, сделал было движение, чтобы перекреститься, но сразу остановился, глубоко вздохнул, махнул рукой и решительно вышел...

---

## II

В конце тюремной усадьбы, под стеной, находился окруженный с трех сторон какими-то пристройками небольшой дворик, на котором возвышалась сколоченная из новых бревен в виде буквы Г, с перекладиной под углом, виселица. Она царила над освещенным пожарными факелами двориком, и от нее не отрывались взоры отряда солдат. Она рождала в них молчаливый страх; солдаты тесно сплотились и жались друг к другу в потребности взаимной нравственной поддержки пред отвратительным по своей простоте орудием казни. Таинственным и зловещим казался освещенный неровным, колеблющимся, словно дрожащим в испуге пламенем факелов этот клочок земли; на нем мешались и прыгали мрачные тени и ложились на вооруженных людей, будто притаившихся в безмолвии заговорщиков.

Семенов занялся командой и, когда солдаты застыли в одном положении, его начал охватывать нервный трепет, какое-то болезненное ожидание необъяснимо страшного. Сердце его точно рвалось из груди, он слышал его тяжелые и глухие удары. Семенов пугался власти рождавшихся новых впечатлений, не знал, как избавиться от надвигавшихся на него событий; все его существо было напряжено от тяжелых предчувствий.

Вдруг произошло общее движение. В конце двора показалась группа людей, которая быстро приближалась, чернея в тени стен, пока на нее, наконец, не упал свет факелов. Группа состояла из нескольких жандармов, офицеров, товарища прокурора, врача, помощника смотрителя тюрьмы и священника. Во главе же всей этой компании выделялся юноша без шапки, с развевающимися по ветру светлыми волосами.

Сперва получалось такое впечатление, что юноша вел всех этих людей, следовавших за ним под равномерный топот ног. Придерживая обеими руками воротник пиджака, как бы борясь с прохладой ночи, он почти бежал, и в не-

подвижных зрачках его светился холодный ужас. Едва поспевая за ним, все эти представители начальства гнали его вперед, к освещенной виселице. Добежав до центра двора, он сразу остановился, как затравленный зверь, заняв положение главного актера в этой драме. Лицо его было такое, словно у пего под кожей не осталось ни одной капли крови, и красный отблеск факелов не мог окрасить этого синеватого отлива кожи, отражения предсмертного чувства у здорового и молодого человека.

В немом отчаянии Руссов озирался, словно убеждаясь, что нет спасения от мучений и смерти, что они близки и неизбежны, но моментами в его взорах иногда проскальзывало что-то похожее на надежду. Он словно не верил, что эти окружавшие его с холодными и деловыми лицами люди действительно будут в состоянии спокойно созерцать его убийство и что они даже явились сюда специально для того, чтобы внимательно следить, как его будут вешать, и убедиться в его смерти, и эта адская жестокость усугубляла ужас его положения. Его охватывал мучительно-страстный порыв умереть сейчас, чтобы ничего не чувствовать и не думать, чтобы все окончилось сразу.

У него сохло во рту, он ежеминутно смачивал языком горячие запекшиеся губы. Он с трудом переводил дыхание, как будто уже чувствовал на своей шее веревку палача. Поручик Семенов не мог отвести от приговоренного к смерти глаз и от глубины своего сочувствия и жалости как будто сам испытывал частицу его страданий; душа его замирала от острого, томящего страха. Он чувствовал уже, что не вынесет до конца этого ужаса, что нельзя не кричать, когда пытаются и жгут человеческую душу.

Вдруг юноша увидел палача и вперил в него свои полные муки глаза. Казалось, что он разразится припадком смертельной паники, но несчастный словно застыл при виде этого человека в серой шинели, наброшенной на плечи. Палач бросил на Руссова безличный, беглый взгляд своих серых, как свинец, глаз и начал спокойно приготовляться к исполнению своих законных обязанностей. Он вел себя с сознанием важности порученного ему дела, он всецело под-

чинялся ответственной роли. Он внимательно осмотрел парусиновый мешок, приставил к виселице ступеньки, установил удобнее черный ящик с переложенной поперек его крышкой, поправил в этом гробу стружки и сильной рукой попробовал и подтянул петлю на виселице.

Он старался, чтобы все было в порядке, и видно было, что жертва его меньше всего его интересует; нравственная сторона всей этой процедуры возлагалась на тех, которые поручали ему убивать человека.

Палач отобрал из кучи сложенного у подножия виселицы какого-то материала веревку, сбросил движением плеч на крышку гроба шинель и, сделав два шага вперед, посмотрел прямо в глаза товарищу прокурора и жандармским офицерам: можем, мол, начинать!

Последние вздрогнули. Спыхватился и священник, у которого затрепетал в руке серебряный крест; испугались солдаты... «Читайте, читайте!..» — послышались торопливые голоса. Все засуетились, охваченные неудержимой потребностью скорее избавиться от этого невольного душевного гнета, естественного, животного страха пред смертью, служителями которой они явились. Весь трагизм положения этих людей заключался в том, что они не могли отделаться от сочувствия к убиваемому ими человеку, понимали и усваивали его ужасное состояние. Это мешало им спокойно исполнять их обязанность, которую они по малодушию считали выше своего человеческого значения и нравственного долга.

Вследствие этого, они спешили с казнью, чтобы скорее все окончилось, чтобы было уже поздно, непоправимо. Все знали, что им тогда станет легче, и они со спокойной совестью оправдают себя долгом и службой. Священник отец Никопор совершенно забыл о том, что он служит Богу и не должен быть пассивным свидетелем убийства и всякого преступления; у него от робости подкашивались колени, и, показывая юноше крест, он хотел думать, что делает все, что от него требуется. Но в душе каждый понимал, что он уже одним своим присутствием является бесспорным, активным участником убийства.

Более других и сильнее понимал это и чувствовал поручик Семенов, у которого уже раньше бродил протест против этого безобразия, скованный привычкой к повиновению и служебными традициями. Теперь же протест этот рос, негодование развивалось, и он был всецело поглощен этими чувствами в непосредственном отношении их к личности приговоренного к смерти.

Упавшим голосом начал читать смертный приговор товарищ прокурора, но вдруг с середины стал почти кричать, лист дрожал в его пальцах, а лицо приняло старческое выражение. К концу чтения он поднял глаза и увидел, что палач медленно подошел к юноше и старательно завязывает ему за спину руки. Палач также спешил, и юноша, обессиленный безнадежностью, истомленный и истерзанный грандиозностью своих страданий, пытаемый смертью, подавленный непрерывным, нестерпимым ужасом, без тени сопротивления отдавался в руки палача. В его трагической безответности и беспомощности было столько ужаса, в его лице отразилось такое предсмертное смирение, в глазах такая безграничная печаль, что вся толпа словно застыла в созерцании глубокого величия этой сцены. Ни один звук не нарушил обряда приготовления к казни, ни один вздох не пронесся над толпой: тяжесть минуты сковала все груди.

Пароксизм острой, невыносимой жалости содрогнул Семенова. Все его существо подчинилось глухой, но могучей ненависти к этому дьявольскому, механическому истязанию, издевательствам человека над человеком, попранию всех божеских прав и законов.

Палач подошел с мешком. В последний раз юноша взглянул на свет Божий, и затуманенным смертельной, безысходной тоской взором обвел эту толпу бледных, беспомощных и жалких людей, боявшихся выразить ему то сочувствие, которым они против своей воли теперь жили. С укором и последней мольбой глаза Руссова остановились на Семенове, который прочел в его взгляде такую жалобу на его борьбу с собственным чувством и стремлением, что поручику сделалось до ужаса и отчаяния стыдно; он бесповоротно убедился, проникся глубоким сознанием, что перед

ним совершается гнусное, циничное, возмутительное во всех отношениях преступление. Для него теперь это было очевидным, с него окончательно спал гипноз палача, он прозрел, освободился от сомнений, что все эти ссылки на закон, обязанность и долг — ложь, обыкновенные увертки преступников, наемных убийц.

И в тяжелый, подавляющий момент, когда все притихли и присмирели в созерцании происходящего преступления, когда люди не смели дышать в этой атмосфере смерти и над всеми навис гнет совершающегося ужаса, — властный, во всю человеческую душу крик прервал процедуру казни:

— Не смей! Прочь, палачи, убийцы!

Если бы раскрылось внезапно небо и солнце осветило мир, это не произвело бы такого впечатления, как внезапное появление между палачом и жертвой поручика Семенова. Все словно обезумели; напряженные продолжительным испытанием, измученные нервы не выдержали, и общее состояние разрядилось истерическим криком; завопили все, как один человек, сами не зная отчего, охваченные безумным экстазом.

Могучей рукой был отброшен на черный ящик палач. Через секунду он уже бежал, объятый паническим страхом, пораженный необыкновенным, не усваивающимся его умом случаем. Он был охвачен отчаянием, страхась преследования победителя, его справедливой и жестокой мести.

Руссов впадал уже в какую-то апатию; полная безнадежность, наконец, побеждала и стала заглушать жажду жизни. Обессиленный, он отдавался палачу, и во всем истомленном существе его жил лишь протест против этих страданий, превосходящих человеческие силы, и бедное сердце юноши судорожно билось в последнем трепете жизни. И в этот момент мощный, словно голос с неба, раздался возглас Семенова и нарушил предсмертный ужас гоноши. Инстинкт жизни сразу объяснил ему все, как молния блеснула в нем радость воскресения, и он забился в сладостном приступе счастья и надежды. Страстный крик изболевшегося и измученного человека был ответом на сочувствие и

защиту Семенова. Вырвавшись из предсмертного кошмара, он упал на колени и зарыдал в припадке благодарности и веры. Ему казалось, что теперь все за него, вся эта толпа, к которой возвратились правда и человеческое чувство. Он бился у ног своего спасителя со связанными за спину руками, захлебываясь в слезах. И когда Семенов схватил его в объятия и шашкой перерезал веревку, юноша тяжело вздохнул и лишился чувств...

Скоро Семенов сидел в караульной, под надзором ждавших трусливо военного прокурора и губернатора жандармских офицеров. Семенов был бледный и усталый и говорил возбужденно:

— Я не знаю, что со мною было, но не мог иначе поступить. Нельзя смотреть спокойно, когда убивают человека, — поймите это! Я ничего не боюсь, меня никто не может заставить совершать убийство. Его, вероятно, повесят, но я свой долг совершил. Со мной могут делать, что хотят, но никогда у меня не отнимут сознания правды и обязанности защищать ближнего, как самого себя...

Жандармы утрюмо молчали. Они старались не смотреть на человека, самоотвержение которого для них было непонятно. Они знали, что обязаны выразить Семенову порицание, что его поступок должен казаться им преступным, по против воли не могли отделаться от чувства безмолвного благоговения пред тем, кто осмелился поступить так, как заставляла его совесть и долг человека.

## СПАСЕНИЕ

### I

Молодой доктор Печалин сидел в холодный осенний вечер в кабинете городской больницы и мечтал. Печалин недавно вступил на дежурство, обошел палаты своего барака и теперь ждал чая и служителя Антона, которого он послал за табаком и гильзами. Печалин прислушивался, как за окном метался ветер, скрипевший деревьями и стучавший ставнями, и думал о том, что у него еще нет практики, что он не умеет устраиваться, как другие врачи, и принужден жить на скудное больничное жалование.

Вдруг доктор вздрогнул и весь превратился во внимание; до его слуха донесся лошадиный топот и шум катящихся колес.

«Кого это везут в такой поздний час? — подумал Печалин. — Что случилось?»

Топот становился все явственнее, шум приближающегося экипажа увеличивался и, наконец, остановился у барака, в котором дежурил Печалин. Он слышал фыркание лошадей; неясные голоса глухо доносились из-за окна, и какая-то беспричинная, суеверная робость, не то предчувствие постучались ему в сердце. Он стал около стола в ожидании доклада фельдшерицы и слышал уже происходившую в коридоре возню и движение. Наконец, в дверях кабинета появилась полная фельдшерица и тихо произнесла:

— Доктор, есть раненая.

— Что такое? — задал стереотипный вопрос Печалин.

— Очень серьезные, ужасные поранения. Пожалуйста, поспешите, — ответила фельдшерица, и тут Печалин заметил, что она бледна и взволнована.

— Что с вами, Вера Николаевна? — удивился Печалин, внезапно охваченный беспокойством. — Что случилось?..

— Бомбой... сама бросила в губернатора, — прошептала фельдшерица, и выражение ее лица было полно таинствен-



ности.

— Что вы?! — воскликнул Печалил и быстро направился в палату. Доктор был крайне заинтересован раненой в смысле ее отношения к исключительному происшествию, в котором играли роль бомбы, эти сенсационные и ужасные снаряды, приобретшие в последнее время такую популярность.

В палате находились полицейские и жандармы, толпившиеся около низких носилок, которые на первый взгляд казались наполненными кучей тряпья.

— Доктор, вот вам, извольте заняться! — крикнул хриплым голосом, указывая рукой на носилки, высокий, с фиолетовыми жилками на красном лице, жандармский полковник.

Носилки совершенно терялись среди полицейских и жандармов, едва не державшихся за них. Они как будто опасались, что кто-нибудь вырвет или похитит у них добычу. Они надвигались всей массой, в мокрых шинелях, с шапками и револьверами и, казалось, заваливали всю палату своими громоздкими фигурами. От них несло сыростью, табаком и улицей; они представляли резкий контраст со всей больницы обстановкой.

Печалин ничего не ответил; он как-то съежился перед этим сборищем грубых людей, чувствовавших себя здесь как в казармах, кричавших, стучавших сапогами и шпорами и бряцавших амуницией. Печалин быстро подошел к носилкам, взял в руки электрическую лампочку и направил свет на раненую.

Она лежала, свернувшись в клубок, и только периодические судорожные движения, заставлявшие шевелиться куски пальто, обрывки платья и оборок, доказывали, что в теле раненой еще таится жизнь. Доктор бережно снял с лица девушки пряди сбитых волос, затем провел несколько раз по лицу мокрой губкой и смыл грязь, почти совершенно скрывавшую черты лица раненой.

Лицо было без кровинки и словно застыло. Оно казалось сердитым, как будто раненая не находилась в забытьи, а умышленно опустила веки, не будучи в силах отвести от се-

бя чужие взоры. Окружавшая носилки толпа не спускала глаз с раненой и строго следила за действиями врача. Чувствуя себя хозяевами положения, жандармы и полицейские обменивались короткими фразами и возгласами, в которых не было даже тени сожаления или волнения. Их не трогала картина страданий и кровь, они лишь смотрели на раненую, как на необходимый им для их дела предмет. В глазах их сквозила жестокость, они казались хищниками, предъявлявшими свое право.

Печалина волновали эти представители закона и власти; от них несло холодом, и ему хотелось грубо оттолкнуть этих людей от носилок, защитить раненую девушку, отстоять перед жандармами свое право врача. Он вышпрямился, вздохнул и обратился к полковнику:

— Я не могу при таких условиях осматривать раненую. Простите, вы мне мешаете, стесняете, так нельзя... Как хотите...

Жандармы и полицейские отступили от носилок, а полковник встрепнулся, мрачно взглянул на доктора и раненую и, подумав минуту, ответил:

— Ах, да, пожалуй... Что ж, можно подождать вас в кабинете... Освободите помещение, — обратился он уже к своим подчиненным, которые быстро стали выходить из палаты. — Вы скоро, доктор, окончите?

— Я еще не осмотрел раненую.

— Да что ж тут осматривать?! все равно умрет. Нам только для формальности...

— Неизвестно, посмотрим, — проговорил Печалин, удивленный и задетый самоуверенным и наглым тоном полковника.

— Гм... Вы еще сомневаетесь? Странно. Впрочем, как вам угодно, мы вас подождем.

Полковник пожал презрительно плечами и с видом человека, не желающего спорить, оставил палату.

На Печалина это произвело такое впечатление, будто полковник доволен тем, что девушка умрет, что его это убеждение радует, и он злорадствует. Проводив жандарма, к которому он чувствовал какую-то органическую враж-

дебность, недобрым взглядом, Печалин повернулся к фельдшерице и сделал ей знакомый знак головой и глазами. Тогда фельдшерица стала бережно разбирать покрывавшие раненую окровавленные обрывки платья, и доктор, сдвинув брови, приступил к осмотру обнаженного, тщедушного, но молодого тела, усеянного ранами различных размеров; из них сочилась кровь, словно кто-либо медленно выдавливал ее изнутри. Печалин покачал головой, набросил на раненую простыню и сказал: «Пусть несут в операционную». Сам же он направился к кабинету, где его ждали жандармы. Последние при виде его встали с кресел, и полковник спросил:

— Ну, что, доктор, как дела?

— Положение серьезное. Оно осложняется тем, что в раны попало много посторонних вещей, как материя, грязь и так далее.

— Ну, вот видите, я вам говорил! — воскликнул полковник, как будто торжествуя.

— Но я надеюсь спасти ее, она не безнадежна. При известной настойчивости и уходе, я думаю, можно избежать заражения крови, и она будет жить.

Хотя Печалин, действительно, не считал дело потерянным, но, во всяком случае, у него не было той надежды, какую он высказывал. Он лишь возражал из духа противоречия, его злил полковник, он не выносил его вида хозяина. Печалина приводил в негодование тон жандарма, создание силы и права, сквозившее во всем его поведении, пренебрежение к чужой личности. Доктор еле сдерживал себя от резкости и грубости.

— Ну что ж, и прекрасно, — как бы насмешливо ответил полковник. — Желаю вам успеха. Только она должна находиться в изолированном помещении. Ротмистр, поставьте караул у комнаты, в которой будет находиться Леонова, — обратился полковник к высокому и худому жандармскому офицеру. — Имею честь кланяться!..

Печалин холодно ответил на поклон жандармов и поспешил в операционную, полный желания спасти девушку.

Он испытывал странное состояние. Печалин сознавал, что его оставило обычное хладнокровие и спокойствие, необходимые у постели больной. Его трогал и изумлял необычайный, незнакомый ему героизм лежащей перед ним истерзанной девушки, не сопоставлявшийся с ее хрупким и слабым телом и почти детским лицом. Леонова производила на него впечатление исключительной личности, она трогала его своей борьбой с физической болью, словно она стыдилась и скрывала свои страдания, не хотела выражать их, не замечала своих ран и крови. Печалин впервые наблюдал подобное явление и был крайне взволнован им. Ему в девушке все казалось необычайным: ее внешность, самоотвержение и презрение к смерти, и вся обстановка с завладевшими ею жандармами и городовыми. Все эти условия в совокупности создавали у Печалина порыв принять исключительное участие в судьбе девушки, потребность облегчить ее участь, быть ей полезным. Она подчинила его себе своей личностью и беспомощностью; сочетание физической слабости и нравственной силы производило необыкновенно могучее обаяние на молодого доктора.

## II

Старания и заботы Печалина не оказались напрасными. Опасность миновала, и Печалин, полный гордости и радости врача, вырвавшего из пасти смерти ее добычу, наслаждался своим успехом. Выздоровление девушки приводило его в восторг не только как врача, получающего нравственное удовлетворение. Ему стала необыкновенно дорога его пациентка, с которой его столкнула судьба при таких исключительных обстоятельствах. Все события памятной ночи образовали условия, крайне благодарные для создания особой атмосферы в отношениях Печалина и девушки. Между ними постепенно возникла та интимность, которая рождается на почве взаимного расположения и начинающейся дружбы. Обоих связывала тяжелая драма, заста-

вившая их столкнуться на жизненном пути, о которой никто из них никогда не упоминал ни одним словом.

С момента появления Леоновой в больнице, Печалина не оставляло чувство жгучей жалости к девушке; она представлялась его душе и воображению каким-то воплощением нравственных и физических страданий. В ее облике он читал столько скорби и безответности, что даже факт покушения на жизнь губернатора представлялся его сознанию и чувству, как один из самых главных эпизодов ее страданий. Он понимал, что лишь глубокая трагедия души и мысли может создать тот огромный разлад между общим нравственным складом человеческой личности и ее действиями, какой произошел с Леоновой. Он отбрасывал всякую возможность осуждения Леоновой, он считался лишь с фактом ее полного подчинения высшим идеалам, за которые она отдавала свою душу, кровь и жизнь.

Печалив привык к заботам о Леоновой, и ее присутствие вошло в обычную колею больничной жизни; даже караульный с ружьем у дверей комнаты Леоновой не так резал глаза и не производил того тяжелого впечатления, как в первые дни. Спокойное и однообразное течение жизни давало возможность забывать о том, что Леонова во власти жандармов и солдат. Но часто безграничная печаль охватывала доктора, когда он вспоминал о перспективе суда над девушкой. Он терялся среди предположений, догадок и надежд и старался сам себя успокоить. Опасное будущее представлялось ему далеким, он как-то не верил в него и отдавался настоящему, подчиняясь нараставшему новому чувству и обаянию своей пациентки.

Но недолго продолжалась больничная идиллия Печалина. Однажды он явился в обыкновенное время в больницу и, когда приближался к комнате Леоновой, какая-то несообразность бросилась ему в глаза: у дверей не было караульного. Доктор сразу даже ясно не определил сущности дела, но душа у него замерла и какой-то холод прошел по телу. Он распахнул дверь и необыкновенное волнение охватило его. Комната была пуста: Леонова исчезла.

Печалин узнал, что рано утром прибыли жандармы, сле-

дователь и городской врач и увезли Леонову. Для доктора потянулись тяжелые, мрачные дни; черные предчувствия угнетали его, острое беспокойство лишило его сна и аппетита. Он потерял энергию и страдал от непрерывного ожидания чего-то необыкновенно трагического, чего он без памяти страшился. Он знал и чувствовал, что никогда ему не перенести того, что ему стало теперь казаться неизбежным, что темной тучей нависло над его жизнью. Тоска грызла его, в порыве безграничного страха он ежедневно набрасывался на газеты в поисках реального подтверждения своих опасений и предчувствий и однажды нашел то, чего он искал, чтобы увенчать свое горе невыносимым ужасом.

Короткая заметка извещала, что Леонова военным судом приговорена к смертной казни через повешение и что приговор суда будет приведен в исполнение сегодня в 12 часов ночи.

Печалина на миг окутала тьма, он лишился сознания. Затем он вскочил, схватил шляпу и в припадке какой-то животной паники выбежал на улицу. В немом отчаянии он шел, куда глаза глядят, бесцельно, инстинктивно стремясь уйти куда-нибудь далеко, убежать от себя, от этой непосильной муки, душевных страданий и горя.

Он бродил по трактирам, рынкам, толкался среди народа, чувствуя потребность какой-нибудь надежды и утешения, и в отчаянии хотел крикнуть толпе на всю улицу: «Люди, ради Бога, спасите ее! Как вы можете заниматься делами, смеяться, спешить, есть, когда совершается ужасное дело: чуть ли не на глазах будут душить маленькую, тщедушную, больную, жалкую девушку, которая не в силах будет сопротивляться, сделать движение для борьбы, протестовать. Слышите?.. будут душить... задушат..!»

Он не мог выносить представления об этой безобразной, варварской сцене, когда безответную, слабую, одинокую девушку окружают за толстыми крепостными стенами вооруженные с ног до головы жандармы, солдаты и казаки, генералы, офицеры и чиновники и спокойно повесят ее, как собачонку, и ни у кого не заговорит жалость, простой стыд, человеческое чувство...

— Ничего у них нет, ничего! -- стонал он, полный безнадежного отчаяния, и то бежал без оглядки со взглядом безумца, то почти в бессилии останавливался в подворотнях и беззвучно рыдал...

Часы шли; день кончился; спустилась ночь, а Печалин все метался по городу, нестерпимо страдая от сознания своей чудовищной, непростительной вины перед несчастной девушкой. Мучения совести жгли его, раскаяние грызло, он изнемог от душевной пытки.

— Я! я отдал ее на виселицу, я! — стонал он в припадке муки. — Я ее палач!..

Печалин сознавал, что, спасая тогда Леонову, он отнял ее от смерти в высший момент ее душевного подъема, когда она, как солдат в бою, была подготовлена ко всему, когда смерть была не страшна ей, а являлась естественным последствием действий девушки. Его сводила с ума мысль, что если б не его энергия и страстное желание спасти Леонову, она бы тогда спокойно умерла, и палачи не могли бы тешиться над ней. Нравственное потрясение Печалина было ужасно, и он готов был убить себя, потому что он неисчислимо умножил страдания девушки, что своими стараниями он подготовил ее к утонченной казни, на сверхъестественный, непосильный ужас...

Ветер бушевал, но Печалин не замечал бури, дождя и холода. Он был всецело поглощен своим несчастьем и безумными муками. Приближалась полночь. В безграничном инстинктивном стремлении быть ближе к месту, где по его вине принимает страдальческую смерть самое дорогое для него существо на свете, он очутился на мосту и в пароксизме ужаса простер руки в даль...

— Леонова!.. — крикнул он в смертельной тоске, в безумной надежде, что его голос донесется до нее в последние минуты жизни и она не будет одна. — Леонова!.. Леонова!..

Но все кругом было тихо, — никакой надежды на спасение; река бурлила, крепость тонула в ночной осенней мгле. Лишь несколько мерцавших вдали огоньков, словно искры, да блестевший в черном пространстве, как лезвие кинжала, золоченый шпич указывали Печалину место, где ра-

зыгрывается трагедия его жизни.

Глухо, медленно стал проноситься в пространстве унылый, как погребальный звон, полуночный бой крепостных часов.

— Леонова... — безумно рыдал Печалин среди непогоды.  
— Леонова....

Но лишь порывистый, злой ветер был ему ответом. Тогда Печалин почувствовал, что он одинок со своими нестерпимыми муками и погибнет как та, которую он в порыве любви и человеческого долга обрек на смерть от рук палачей, без участливого взора, сожаления, без чужой скорби...



## УБИЙЦА

### I

Доктор Сафонов, молодой человек, сидел грустно в углу между жаркой печкой и большим, старым диваном и напряженно о чем-то думал, прислушиваясь к непогоде за окном.

Доктора страшило одиночество. Его душу твердо начала стискивать тоска, всасывалась неясная боязнь, разливалось какое-то тяжелое предчувствие... Сафонову стала казаться страшной большая его комната, пустота, которая давила его и непонятно пугала, спальня, черневшая через открытые двери... Оттуда как будто доносился неясный шорох, чудилось едва слышное движение в темноте, точно шепот... Доктору мнилось чье-то дыхание, что вот-вот появится что-то непостижимо страшное, от чего нельзя будет спастись, что его давно ищет и что неизбежно. Он ждал и боялся этой таинственной жизни, которой полны ночь и тьма... Доктор то и дело вздрагивал от врывавшихся в комнату отзвуков тяжело гулявшей на дворе бури, носившейся с диким воем и шумом, то уходившей, то возвращавшейся с новой злобой и силой...

И вдруг, в тот момент, когда, словно издалека, глухо стали бить полночь часы, врываясь мрачной гармонией в общую жизнь этой ночи, — тихо, без скрипа распахнулась дверь в переднюю, и Сафонов невольно, силой ужаса, был приподнят со своего кресла и вперил широко раскрытые глаза в появившуюся на пороге, словно создавшуюся из темноты, мрачную человеческую фигуру...

— Вам что угодно? — едва слышно прошептал доктор, обращаясь к небольшой старушке с неподвижным, одноцветным, как будто восковым лицом без всякого взгляда, изрезанным яркими и правильными морщинами. Наряженная вся в черное, она почти сливалась с темневшей передней.

— Как вы сюда вошли? — задал второй вопрос доктор, которого необыкновенно поразило отсутствие звонков, непостижимость появления старухи.

— Не все ли вам равно? Можно ли говорить об этом, когда умирает человек, которому нужна ваша помощь, облегчение страданий, — проговорила старуха, и звук ее голоса был такой странный и удивительный: совсем тихий и необыкновенно ясный и отчетливый. Сочувствие материнскому горю сразу переломило страх и предубеждение доктора; он обрадовался явившемуся интересу и работе, спасающей его от тоски и печали, и воскликнул:

— Говорите, говорите, что такое...

— Ради Бога, на Пушкинскую улицу, номер сорок первый, во дворе направо флигель, первая дверь, там мой сын, Борис Голиков, он умирает, умирает...

— Что с ним?

— Он умирает, умирает... моя душа плачет по нем...

Старуха произнесла это так, что Сафонов уже больше ее не расспрашивал, а бросился мимо в переднюю, мигом оделся и быстро вышел на улицу.

— Поедем вместе, — предложил он старухе.

— Нет, нет, нет... — жалобно простонала старуха, и тут доктор ее сразу потерял из виду, точно ее поглотила и унесла с воем буря...

## II

Порыв врача зажег нетерпением Сафонова. Он боялся опоздать, фантазия его старалась угадать судьбу его будущего пациента. Доктор быстро нашел усадьбу и флигель, указанный ему старухой, как будто он уже раньше бывал здесь. Он дернул звонок смело, с сознанием своей миссии и очень удивился, когда его заставили ожидать около дверей под напором вихря и снега.

Наконец несколько раз повернулся ключ в замке, и Сафонов быстро вошел в переднюю, где увидел перед собою

полуодетого мужчину со странным, растерянным видом, с взъерошенными волосами и бородой.

— Вам что угодно? Вы куда? — почти испуганно крикнул хозяин, приподнимая над головой свечу с колеблющимся пламенем.

— Я — доктор, меня сюда прислали! — ответил Сафонов, сбрасывая на стул свою шубу, действуя с самоуверенностью врача, чувствующего себя хозяином положения везде, где находится больной.

Он вошел в комнату и, обведя взором стены, сразу убедился, что попал туда, куда следует.

Хозяин, вначале, по-видимому, несколько ошарашенный, наконец стал приходить в себя. Он поставил твердо подсвечник на стол, сжал брови и произнес резко и иронически:

— Вы напрасно прете, доктор, сюда, — напрасно рассказались, — вы не туда попали.

Сафонов вздрогнул скорее от недоумения, чем удивления.

— Как не туда? — воскликнул он обидчиво. — Ведь здесь живет, надеюсь, Борис Голиков?

— Да, я — Борис Голиков, — ответил хозяин, и несмотря на все, по-видимому, не ожидал того впечатления, какое произвело его признание на доктора. Сафонов даже отступил <на> шаг назад и с беспокойством во взоре и голосе спросил:

— Вы, вы... вы не больной, не умираете?

— С чего вы взяли? — вскричал Голиков, глядя в полном недоумении на ночного гостя...

— Но меня пригласила сюда ваша мать. Она была у меня в горе, торопила — помилуйте, что за странная мистификация?

— Кто? моя мать? — закричал каким-то странным голосом Голиков. — Доктор, над вами зло посмеялись, — показывал он головой, — это невозможно.

— Но это так, она была у меня — для чего это нужно было...

— Но почему вы уверены, что это моя мать? — вос-

кликнул Голиков.

Сафонов сначала растерялся, но сейчас же произнес горячо, возбужденно:

— Разве это не ваша мать? — указал он на большой портрет старухи на стене.

Голиков стал бледнеть, и глаза его в неопisanном, суеверном изумлении остановились на Сафонове.

— Да, это моя мать, — прошептал он упавшим голосом, полный ужасного ожидания, непонятного предчувствия, — но разве она была у вас?...

— Да, она, клянусь вам, ведь я не знал ее раньше... — закричал Сафонов, но не закончил своей фразы, так как бросился к Голикову.

Последний зашатался. Опустившись в кресло, он с искаженным лицом, белый, как снег, простонал:

— Доктор, доктор, ведь моя мать умерла десять лет тому назад...

Сафонов почувствовал, что и он сразу ослабел. У него на миг потемнело в глазах, холод ужаса сковал кровь. Он схватился за стол, чтобы не упасть.

— Господь с вами, это невозможно, — с трудом прошептал он, — невозможно...

А между тем, он видел, что это правда, сразу поверил Голикову, тут не было места лжи. И потому смятение его росло. Еще минута, и он побежал бы отсюда в панике, без оглядки.

Но состояние Голикова было сложнее, видно было, что не одна голая сверхъестественность этого случая сводит его с ума. В экстазе величайшего отчаяния, он уцепился за руку доктора и почти повис на ней, упал на колени.

— Доктор, доктор, не оставляйте меня, спасите...

Его беспримерный ужас пересилил страх Сафонова, который невольно был отвлечен положением Голикова.

— Что с вами, упокойтесь, тут что-то непонятное, может быть... объяснится...

Он говорил первые попавшиеся слова, не веря им, будучи сам в полной растерянности...

— Нет, нет, — лепетал между тем Голиков, корчась в судорогах у ног упавшего в бессилье в кресло Сафонова, — это указание. Как это все страшно, страшно! ...

— Что мне с вами делать, умоляю вас! — почти со слезами воскликнул Сафонов.

— Нет, нет, это мой конец, — с смертельной тоской, но убежденно прошептал перекосившимися губами Голиков, — конец моей ужасной, преступной жизни.

— Что вы говорите? — в безграничном удивлении вздрогнул Сафонов, глядя в упор в лицо Голикову, словно стараясь проникнуть в его тайну.

Тогда, не будучи в силах сдержать себя, в потребности покаяния, Голиков, прижавшись к доктору и приблизив к нему искаженное лицо, стал говорить ровно и тихо, почти без передышки, словно боялся, что не успеет все высказать, и в каждой фразе его сквозили ужас и отчаяние.

### III

— Доктор, я — убийца, страшный убийца. Я всю свою жизнь мечтал посвятить добру, смирению и милосердию, отдать свою жизнь за другого, и потому я — убийца, да, потому.

Наступила короткая пауза. Доктор, пораженный, сидел не шевелясь. Казалось, Голиков прислушивался к гудевшему за окном урагану и затем, вздрогнув всем телом, продолжал:

— Глубоко замечтавшись, шел я однажды домой, размышляя о своем решении уйти от света, сберечь себя от греха и преступлений, неизбежных спутников нашей жизни. Была лунная ночь, все так было хорошо, и вдруг выстрелы, крики о спасении. Боже мой! Доктор! Я постиг сразу всем своим существом значение этого факта: на улице убивали, лишали жизни человека — понимаете, человека! Ах, как мало знают, что значит лишить жизни человека! В таких случаях нельзя размышлять — надо спасать, это высший долг

каждого созданного по человеческому образу и подобию. И я побежал на выстрелы и крики.

Среди освещенной улицы три человека стреляли в одного, прижавшегося испуганно к стене. Еще минута, и он был бы убит. Всякая минута дорога. В порыве, не помня себя, совершенно инстинктивно, я схватил булыжник — другой поступок был уже невозможен — и бросил его в убийц. Удар был ужасен. Крик другого огласил площадь, и все в страхе бросились бежать, кроме одного, того, в которого я попал. Я сначала не понял, побежал за остальными и преследовал их без цели вместе со спасенным мною человеком. Он размахивал блестящей шашкой, и я убедился, что спас городского. Он загнал убежавших во двор и тут схватил их, обессиленных, жалких и страшных вместе. И когда они уже были связаны и толпой отведены в полицию, я понял, что я сделал.

В участке мою удрученность приписали излишней впечатлительности. Полицейские меня успокаивали, обласкали, благодарили, — я был герой; все были в восхищении, кроме меня и двух арестованных, сидевших, как затравленные волки, с невыразимым беспокойством на лицах... Я смотрел на них, как на свои жертвы, но что мне было делать? Я ведь хотел спасти человека и вследствие этого немедленно убил одного и двоих приготовил к виселице. Я не мог уже радоваться счастью спасенного мною городского, славного малого, который ухаживал за мной и не знал, как отблагодарить меня.

Наступили для меня тяжелые дни, я страдал дико и невыносимо. Помилуйте, те, желавшие убить, не убили, а убил я, а через несколько дней убью еще двоих. Во что бы то ни стало, надо было спасти те две жизни, как я спас жизнь городского. Это был мой долг, я имел на это право. Я молил, рыдал, сходил с ума, обошел все начальство. Ничто не помогло. Тех решили повесить, но я решил их спасти. Я не хотел быть убийцей еще двоих, это сделалось целью моей жизни. Довольно смерти и убийств.

Когда я на что-нибудь решаюсь, у меня проявляются удивительная энергия и настойчивость, не выносящая препят-

ствий, — продолжал после глубокого вздоха Голиков. — Я выполнил свой план блестяще: караульный был усыплен, замок почти распилен, — и вдруг, проклятье! появляется новый городской. Я уже у самой цели, — а он бросается ко мне, — и я тогда ничего уже не помню! Находясь весь в каком-то пароксизме энергии, потребности спасти две жизни — я инстинктивно, как тогда бросил камень, хватил городского напильником по голове. Он сразу был мертв. Я тут же опомнился, бросился к нему...

Доктор, доктор, — я убил городского, которого тогда спас.

Доктор, вы понимаете теперь, что я, каков я и что со мной. Я убежал, но меня сейчас возьмут, а тех повесят. И теперь пришла ко мне на помощь мать, моя мать, которая там почувствовала и поняла, что мне остается делать. Как загнанный зверь, как бешеная собака, я метался здесь, пока наконец не явились вы и не облегчили сразу мою задачу.

Голиков вскочил, сжал Сафонову руку, приложил ее к своей воспаленной голове и решительно бросился вои из комнаты. Доктор, будучи под страшным впечатлением рассказа, в первую минуту потерялся. Когда же он бросился за ним, Голикова уже не было, и лишь открытая во двор дверь указывала, что его нет в квартире. Сафонов быстро оделся, крикнул во дворе, выбежал на улицу, но все было напрасно. Голиков исчез, а около ворот стояло несколько человек — полицейских, и пристав говорил дворнику:

— Веди нас к Голикову!

#### IV

Сафонов вскочил в первые проезжавшие сани, велел гнать лошадь и был быстро дома. Он весь дрожал, он лишь чувствовал, что с ним происходило что-то страшное и непонятное и не знал, какую он играет здесь роль и что ему делать. Только он вошел в свой кабинет, как сейчас же стал бояться. И в тот момент, когда он, потрясенный, собирался с мыслями, куда ему бежать от ужасного одиночества, он

внезапно увидел в дверях фигуру неизвестно каким образом вошедшего человека.

Доктор в паническом страхе бросился в сторону, ему это показалось уж чрезмерным, но жалобный голос остановил его на месте — столько в нем было тоски и печали.

— Доктор, доктор, умоляю вас! помогите раненому, умирающему человеку, облегчите его страдания...

— Вы опять кого-нибудь убили! — воскликнул Сафонов в неимоверном изумлении.

Пред ним стоял печальный Голиков и со скорбью шептал:

— Помогите, помогите... Он лежит под воротами анатомического театра, под снегом... один...

Сафонов сразу поверил ему. Новое несчастье вдохнуло в него силу и энергию. Через минуту оба были на улице.

— До анатомического недалеко, бежим...

Доктор очутился среди бури и снега, он пробирался с трудом вперед в борьбе с ураганом и потерял Голикова. Сафонов искал дорогу по силуэтам знакомых домов, мелькавшим сквозь снежные вихри.

Скоро, под самыми воротами мрачного и низкого здания анатомического театра, он нашел раненого, лежавшего в сугробе засыпавшего его снега.

Луна выглянула из-за тучи, и доктор Сафонов оцепенел. Пред ним лежал Голиков.

— Это вы, вы...

— Ах, так хорошо, доктор, что вы пришли... Я о вас думал, сильно думал, мне легче с вами... Я умираю...

— Как вы сюда попали? — прошептал Сафонов, и отчетливо, несмотря на вой бури, доктор услышал последние слова умирающего...

— Я хотел сгинуть... умереть неизвестным в этом доме, соединиться, спрятаться среди всех трупов, жертв голода, холода, несчастья и преступлений... Одним трупом больше, было бы незаметно. Но мертвых сторожат лучше, чем живых, в мертвецкую нельзя проникнуть незаметным, все заперто... И я пустил себе пулю здесь... Мне ничего не надо... я захотел лишь, чтобы около меня была хоть одна душа...



Сафонов нагнулся, схватил руку Голикова и сейчас же опустил ее...

Перед ним уже лежал труп...

### I

Семья председателя военно-окружного суда Фролова ждала его к обеду. Генеральша, дородная женщина, сидела с недовольным лицом в кресле, видимо сдерживая нетерпение. Дочь ее Елена, статная, крепкая брюнетка, обаятельная здоровой молодостью, рассеянно перелистывала у пианино ноты, бросая озабоченные, внимательные взгляды на молодого офицера, стоявшего утрюмо у окна и не спускавшего упорного взгляда с улицы...

Наконец девушка решительно встала и подошла к офицеру. Положив ему ласково руки на плечи, она заглянула в его хмурое лицо настойчивым, вопрошающим взглядом.

— Андрей, что с тобой, скажи, — грудным, беспокойным шепотом потребовала Елена, — у тебя странный, расстрянный вид сегодня, — что случилось?

Андрей вздрогнул, словно холод скользнул по нему, и ответил нервно, с боязливой тоской в голосе:

— Право, ничего особенного и серьезного; на меня это нашло после суда, и я сам этого не ожидал...

Он был одновременно и смущен настойчивостью невесты и, вместе с тем, его томила потребность высказаться — естественное стремление отвлечься от подчинившего его гнета. И словно угадав это, Елена, поддавшись порыву любопытства, схватила его за руки, почти насильно увлекла в соседнюю комнату, усадила в кресло против себя, и Андрей стал спеша рассказывать, путаясь в отрывистых фразах. Иногда конфузливая улыбка кривила его губы, словно он был виновен в своих чувствах и переживаниях.

— Видишь ли, там в суде приговорили к смертной казни четырех разбойников. Но не в этом дело, это, конечно, бывает: военный суд, такое время — ничего не поделаешь... В сущности, даже нечего рассказывать, пустяки все, нервы... право...

Андрей замялся и смутился от того, что он говорил не то, что следует. Но вдруг улыбка таинственности заиграла на его лице, он наклонился к Елене и почти шепотом, весь отдавшись настроению, с горячим, возбужденным взглядом продолжал свой рассказ уже с большей систематичностью и определенностью.

— Когда им было дано «последнее слово», один, по фамилии Забугин, обратился прямо к судьям: «Вы-то чего судите нас? Вы должны нас больше понимать, чем все, — ведь вы так же занимаетесь убийствами, как мы, это также и ваш хлеб... У нас с вами одна совесть...»

— Так все и ахнули, — продолжал оживленно Андрей, — он сказал это страшно цинично и просто, как свой своему, напрямик, и потому это произвело необыкновенное впечатление...

— Вот отчаянный, — прошептала Елена, увлеченная эффектностью и исключительностью этой сцены.

— Твой отец страшно рассердился, крикнул конвойным, и те мигом выволокли Забугина в коридор, словно мешок...

— Это ужасно, воображаю, как папа взволновался, — произнесла Елена задумчиво, — но тот ведь все равно ничем не рисковал... И это произвело на тебя такое сильное впечатление? — обратилась она к жениху.

Андрей, как бы озадаченный, широко раскрыл глаза и провел рукой по лбу.

— Нет! — вздрогнув, пробормотал он вдруг побелевшими губами, словно сразу вспомнил все. — Нет, не то... а там... приговорили к смерти невиновного...

Девушка невольно вздрогнула от тона Андрея, от его страдальческого голоса. Он кинул ей поспешно фразу и замер в сильнейшем волнении, сразу передавшемся ей. Невольный ужас обуял ее.

— Боже, откуда ты это знаешь? — воскликнула девушка...

— Он говорил, так говорил, — почти простонал в отчаянии Андрей... — Я ему поверил... Они повесят невиновного! — затрепетал он.

В передней раздался звонок, и Андрей застыл в испуге.

Вошел Фролов и направился в столовую обедать.

## II

— Что сегодня было интересного? — вяло задала вопрос во время обеда генеральша.

— Шайка породистых разбойников, — буркнул Фролов, ломая хлеб.

— Ну, и что же?

— Трупы! — ответил генерал на жаргоне военного суда.

В этом способе выражения сказалась самоуверенность судьи, один приговор которого уже исключал человека из списка живых. Сказал он это слово просто, как будто оно не скрывало ничего ужасного. Генеральша не переставала жевать и даже не взглянула на мужа, как бы желая избежать подозрения в том, что она относится к смертным приговорам иначе, чем к обыкновенным явлениям.

— Андрей мне рассказал, — тихо произнесла Елена, поднимая глаза на отца, — что там один произвел скандал...

— Ах, да, — вспомнил генерал, — негодяй, но ничего не поделаешь, Бог с ним.

В словах Фролова слышалось снисхождение к человеку, все злые усилия которого ничтожны и бесплодны перед тем злом, которое он причинил ему — это было как бы признание последнего, естественного права приговоренного к смерти.

Андрея вдруг стал раздражать генерал своей манерой говорить спокойно об ужасных вещах только потому, что он сам их совершает. Пред ним сразу ярко встал образ Забугина с его ироническим и развязным возгласом, который теперь показался Андрею характерным и метким.

— Хотя надо сознаться, — произнес Андрей, переводя дух от волнения, — в словах Забугина есть известная логика, правда... это был вывод, голое сопоставление...

Андрея будоражили мысли и чувства, внезапно поработившие его. Несложная теория разбойника подчинила

его себе яркостью, силой и смелостью сравнения. В нем родилась потребность крикнуть генералу, что не важно, кого убивает Забугин, а важно, что убивает кого-то он, Фролов, который подражает этим лишь тому же Забугину. Он рвался убедить, втиснуть в мозги Фролова мысль, что каждый убийца так же, как он, Фролов, находит основательные оправдания своему преступлению, заставить Фролова понять, что он своими приговорами сам оправдывает перед людьми убийство, убеждает в его полезности и необходимости. Но Андрей ничего не сказал и сидел бледный и беспомощный перед недоумевающим генералом и испуганной генеральшей, устремившими на него удивленные взоры.

Ему хотелось вопить, но он лишь страдал от сознания, что с ним творится что-то страшное, что он во власти силы, создающей в его душе бурную неудовлетворенность. Он чувствовал, что стремится не к тому, что делает, что его поступки ему самому непонятны, что он находится на границе какого-либо безумного поступка; он вспомнил о невесте и решил бежать от вселявшего ему отвращение генерала. С виноватым видом Андрей, шатаясь, поплелся из столовой, не считая себя вправе говорить, есть и сидеть с человеком, который совершил поступок, только теперь настоящим образом понятый Андреем. И когда за ним сейчас же вышла бледная и встревоженная Елена, Андрей вдруг словно вспомнил, опустился в острой потребности сочувствия к ее ногам, и глухо, в истоме отчаяния, простонал:

— Елена, Елена, они казнят невиновного...

### III

Андрей почувствовал себя очень несчастным человеком уже тогда, когда услышал потрясающее упорство приговоренного к смерти парня, уверявшего судей в своей невиновности. Судьи принимали холодный вид, потому что они были так воспитаны и тренированы для судейского лос-

ка, не позволявшего им жалеть людей, которым они причиняют зло, но Андрей сразу разумом и душою поверил невинно осужденному, и его стихийно и сильно захватило чужое горе...

Ему стали ненавистны люди, читавшие смертные приговоры с таким видом, точно им все равно, что ни читать, бравировавшие тем, что они выше ужаса, жалости и печали, гордящиеся своей профессиональной жестокостью. Андрей ясно и определенно понимал, что сознательно, без всякой тайны, предосторожности и ответственности будет совершено убийство, жертва которого лишена будет надежды на помощь, случай, спасение, на милосердие своих убийц. И Андрей тогда же познал, что он — и каждый человек — не смеет спокойно и безучастно относиться к готовящемуся преступлению. Его стали неотступно и упорно преследовать полные безмолвной мольбы глаза невинно осужденного, и все тверже развивалась и расширялась в душе уверенность, что его равнодушие к судьбе невинно осужденного равно преступлению, что он обязан, словно бы на крик убиваемого в лесу или на большой дороге, броситься на помощь к жертве, все равно, кто бы она ни была и кто бы ее не убивал...

И как последствие всего пережитого, у Андрея естественно создалась и окрепла ясная цель: спасти жертву от руки убийцы. Андрей проникался интересами приговоренного к смерти Лосева, зажил ужасом и страданиями незнакомого ему человека, ставшего ему дорогим и близким. Его стал интересовать заколдованный круг противоречий жизни, в которые он попал, загадочный мир судей, тюремщиков, полиции и палачей, через который должен был пройти до виселицы Лосев и к общению с которым Андрей стал стихийно стремиться...

Первой заботой Андрея было свидание с Лосевым. В его воображении Лосев находился в состоянии высшего отчаяния, ужаса и горя, ожидая смерти в убеждении своей невинности и незащитности. И, отправляясь после некоторых хлопот на разрешенное ему свидание с Лосевым, Андрей изрядно волновался. Он не понимал, как он будет

говорить и смотреть в глаза человеку, обреченному на страшную муку и вследствие этого вышедшему из ряда обычных людей и ставшему другим и исключительным.

Тюрьма, в которой был заключен Лосев, находилась посреди большой запущенной площади. Громоздкое, неуклюжее здание, неоштукатуренное, неопрятное и потемневшее, глядело рядами частых, похожих на клетки решетчатых окон.

Зловещая и будто искусственная тишина сразу стала тяготить Андрея. Словно чудовище, зажатое в тиски, сдавленное за горло, молчало, стиснув зубы и сдерживая скопленную ярость... В атмосфере царила крайняя напряженность, что-то грозное и страшное притаилось здесь, чувствовалась тяжелая и неравная борьба, холодная жестокость победителя...

Жесткие взгляды тюремных надзирателей, ряд крепких ворот, низкие, темные коридоры, специфическая острая затхлость — будто что-то медленно разлагалось здесь — подчинили Андрея непонятной робости. Так ночью на кладбище или в анатомическом театре становится жутко и страшно человеку, чувствующему в то же время себя в безопасности...

Начальник тюрьмы, бравый мужчина с окладистой черной бородой с проседью, с волосами ежиком и мутными серыми глазами, встретил офицера с почтительной фамильярностью человека, сознающего свою власть и силу.

— Вам надо Лосева из казематов? — спросил он Андрея. — можно, можно, сейчас там все спокойно... Я уже послал...

Встретив непонимающий взгляд носителя, он любезно объяснил:

— После того, когда кого-нибудь берут оттуда на сопку, мы их на свидание не пускаем, потому, естественное дело, они возбуждены сильно, надо пообождать, чтобы успокоились, а то — как звери.

— Ах да, там ведь в казематах смертники, — догадался Андрей, и почему-то покраснел в смущении, словно виноватый.

— А вот и вашего привели, — воскликнул живо и предупредительно начальник.

Андрей вздрогнул и почти с испугом поворотился к двери, как будто ожидая встретить что либо необычайное. Из-за дверей приближался торопливый звон цепей, и на пороге появился, впереди двух конвойных с шашками наголо, Лосев.

Андрей хорошо помнил его лицо, и потому сразу узнал его. Обыкновенный белокрысый парень с ординарным лицом, арестант казался тщедушным и жалким. Едва переступив порог, он сразу застыл на месте в ожидании и с ледяным испугом в глазах посмотрел прямо в лицо Андрею.

— Четверть часа, — холодно бросил начальник ефрейтору и, звякнув Андреем шпорами, вышел.

Андрей был совершенно растерян. Его поразил непонятный ужас, живший в глазах Лосева.

— Мне надо было с вами свидеться, поговорить, Лосев, — обратился наконец он к арестанту мягко, почти заискивающе, — я хочу вам помочь. Вам можно сесть, Лосев, начальник разрешил...

Лосев все еще не понял, но понял ефрейтор, который, улыбнувшись, толкнул арестанта в плечо к скамье и сказал:

— Сиди.

Лосев мгновенно успокоился от взгляда солдата. Он глубоко, облегченно и крепко вздохнул, отер ладонью пот со лба, сделал несколько шагов и опустился медленно, в приятной слабости на скамью. Конфузливо улыбнувшись, он произнес уже с чувством глубокого облегчения и даже с искрою веселья:

— А я думал, что пришли за мной, что уже идти надо...

Лосев смело засиял радостью воскресения, счастливый своей ошибкой, продлением жизни, отсрочкой того ужаса, неизбежностью которого он все время жил. Андрей же сидел ни жив ни мертв, полный чувства своей вины перед Лосевым, которого он заставил пережить состояние человека, отправляющегося на казнь, прощающегося с жизнью.

— Вы меня простите, — прошептал Андрей, удрученный своим поступком, — я об этом не подумал...



Лосев удивленно смотрел на Андрея и не понимал его. Он еще был подчинен робкой, жалкой радости, и его неволью беспокоил офицерский наряд Андрея в связи с его странными посещениями и словами. Это угадал офицер, и в потребности сейчас же успокоить парня быстро сказал:

— Лосев, я хочу вам помочь, спасти вас, я сделаю все, что могу...

Арестант, страдавший мечтами о спасении, сразу воспринял слова и мысль офицера. Все его существо ждало и требовало таких слов, при каких бы исключительных условиях они не явились. Он не выразил даже никакого удивления, как будто все это было вполне естественно, но вдруг осунулся, и глаза его потускнели от волнения.

— Ей-Богу, ни за что, — только пролепетал он в сильнейшем стремлении убедить и разжалобить заступника, — ни за что, ни за что...

Горе в эту минуту с особенной интенсивностью подняло отчаяние и ужас в его душе, но других слов и аргументов он теперь не мог подыскать. С надрывом, повышая голос, он одно только твердил, почти машинально...

— Ни за что... ни за что...

Казалось, вот-вот он завопит не своим голосом, в истерическом припадке, от приступа сознания своего горького положения. И в Андрее зажглась такая крепкая вера в правду и несчастье Лосева, что он с трудом удержался от порыва схватить его в объятия, утешить, приласкать, облегчить его страдания и тоску, отдать ему всю свою душу и нежность. Ему казалось, что ни один человек в мире не был ему так дорог, как Лосев. И в пароксизме милосердия он, не помня себя, воскликнул:

— Лосев, Лосев, не бойтесь, клянусь вам, вы будете жить, вас не казнят...

Он не мог не сказать этого; но, увидев, какое счастье он дал Лосеву своими словами, страшно пожалел, что посмел обещать так твердо. Он даже испугался своего поступка, потому что сразу вырвал крепко засевший и давивший ужас из души Лосева. Андрею стало хорошо и страшно одновре-

менно, но он утешал себя верою в недопустимость на земле казни невинного.

Его мысль не мирилась с возможностью такого случая. Он никогда не испытывал такой острой жалости, как теперь. Дрожа сам от волнения, он страстно успокаивал Лосева; в потребности принести ему облегчение, увести от ужаса его жизни, который офицер чувствовал и воспринимал всем своим существом, он пускал в ход все фразы и слова, диктуемые ему чувством, не разбираясь и не стесняясь в обещаниях, забыв в стихийном увлечении всякое благоразумие, всецело подчинившись своей идее и долгу...

И дрожащий, с мокрым от слез лицом, жалкий и слабый, Лосев припал в порыве надежды и счастья к Андрею и плача молил и лепетал слова благодарности...

#### IV

Свидание с Лосевым окончательно решило судьбу Андрея. Он определенно и твердо подчинился сознанию обязанности и долга каждого человека защищать всеми средствами людей, которых лишают жизни, при каких бы обстоятельствах и в какой бы форме такое убийство ни происходило.

Обещание, данное им Лосеву, спасти его, создало тревожившую его заботу, что крайне осложнило его нравственное состояние. И отказ главного суда в пересмотре дела Лосева окончательно укрепил то мучительное существование Андрея, от которого он больше не освобождался. Его не оставляла нестерпимая мука непрерывного горячего беспокойства, ожидание опасности. Он со страшной рельефностью и ясностью учитывал свое положение и свою вину перед Лосевым, теряясь от отчаяния в планах спасения.

Андрея непрерывно жгла и не давала ему жить одна мысль: его повесят, его повесят! И он страдал в смятении, будто его самого тянули на виселицу. Он вступил в борьбу с надвигавшимся несчастьем без сознательной надежды на

успех, всецело отдавшись своей общей с Лосевым судьбе. Это единство несчастья не удивляло Андрея, оно чувствовалось им естественно и просто. Мечась в бессистемном искании, потеряв все реальные надежды на связи, просьбы и хлопоты, он с растущим страхом в душе обратил свое внимание туда, где менее всего мог найти помощь. Все стороны жизни постепенно исчезли из его наблюдения и понимания, все, чем он жил до сих пор, ушло от него, и он томился лишь ожиданием того, что наполняло его существование одним сплошным, бесконечно тягучим, жарким ужасом, таким, каким жил и страдал в равной с ним мере Лосев.

Следя за формальным ходом дела, Андрей дошел наконец до полицейского участка, в районе которого находилось место, где должны были казнить Лосева. Сюда его привели и ужас, и инстинкт, и больная неясная надежда на чудо, случай, неизвестно что.

Пристав Самойлов был добродушный, покладистый человек. Андрей познакомился с этим любившим выпить толстяком умышленно, в надежде при его посредстве быть осведомленным относительно предстоящих казней, и с открытой жадностью и волнением ловил каждую фразу, касавшуюся интересовавшего его вопроса. Самойлов за кружкой пива охотно посвящал офицера в полицейский быт, был доволен, что его слушают, и польщен вниманием своего собеседника. Андрей узнал, что перед казнью преступников привозят к Самойлову в участок, и что отсюда уже их доставляют на виселицу. Самойлов рассказал, что палач у них хороший, опытный и спокойный человек, и что начальство им довольно, потому что он не куражится и не капризничает, и что зовут палача — Иван Юшков. Личность палача возбудила в Андрее острый интерес, но не дала ему никакого чувства отвращения или вражды. Поймав себя на этом, Андрей даже удивился.

— А что этот Юшков, как он ведет себя? — спросил Андрей и с жадностью ждал ответа на вопрос, не выразивший полностью его мысли.

— Юшков, — усмехнулся пристав, — ему что — он свое дело знает и никаких. Тянет на перекладину, кого ему да-

дут — вот и все. Он не разбирает, получает свои деньги, живет припеваючи, не то, что в тюрьме, а срок ему идет. С моим городовым в город ходит гулять, в театр, на галерку, к бабам — такой молодец, что мое почтение, казак, одним словом. Только иногда выпивает и буянит, в гордость приходит. Желаете на него поглядеть? — предложил он обрадованному Андрею, уловив сильное любопытство, сверкавшее в глазах офицера, — приходите завтра ко мне в участок. Только вы, пожалуйста, не обижайте его, а то мне нагорит.

С робким нетерпением ждал Андрей следующего дня, чтобы наконец увидеть человека, казавшегося его воображению необыкновенным. Он нервничал и как будто трусил, но в то же время снова обратил внимание на то обстоятельство, что не питает к палачу, против ожидания, ненависти и омерзения. И, находясь в комнате Самойлова, он по улыбке пристава угадал, что вошел тот, которого он ждал. С волнением и жадным любопытством посмотрел Андрей на человека среднего роста, в синих полицейских шароварах и сером пиджаке поверх ситцевой косоворотки. Лицо у Юшкова было обыкновенное, простое, с правильными чертами, серьезное, не выражавшее ничего страшного. Юшков был блондин, стрижен ежиком, глаза карие и прямые, усы красивые — лишь губы тонкие и бледные, обещавшие сухость чувств и упрямство.

— Здравия желаю, вашескородие, — промолвил Юшков с почтительной фамильярностью. Заметно было, что тянется он по привычке и из деликатности, и что никакой боязни перед начальством он не испытывает. Вид у него казался деловой.

— Здравствуй, Юшков, — ответил Самойлов — чего тебе? Не бойсь, — предупредил он, улыбнувшись во весь рот, словно ему все это казалось очень забавным, — это свой, можешь говорить, в чем дело.

Пристав кивнул в сторону Андрея, глядевшего во все глаза на палача и чувствовавшего, что Юшков импонирует ему своей личностью.

— Веревки следовало бы освежить, — сказал палач, бросив косой взгляд на Андрея, — а то те будут плоховаты, опас-

ны!.. В последний раз боялся, что не выдержат — хорошо, что «он» был легкий, так прошло. А то возня была бы...

— Да, да, — сморщился пристав от такой беседы в присутствии Андрея, — пожалуй, купи... Деньги, скажи письмоводителю, он даст...

Пристав углубился в какую-то бумагу и видимо ждал и желал ухода палача. Юшков же, которому не хотелось уходить, выдержал некоторую паузу и сказал, устремив внимательный взгляд на пристава:

— Сегодня один, или сколько?..

— Четверо, брат, — ответил пристав...

— Уже притарабанили?

— Есть, утром сегодня... И что в тюрьме себе думают, — озлился вдруг Самойлов, — доставляют к нам не переодетыми... Где я им здесь чистое белье достану?!

Палач улыбнулся.

— Спешат, — иронически проговорил он, — скорее с рук сплавить... А белье полагается...

— Я пожалуйюсь полицмейстеру, а сегодня уж как-нибудь, Бог с ними...

— Можно, конечно, — согласился Юшков, — обойдутся. Только зачем против порядка... Ведь они белье все равно в счет ставят...

— Вот народ, право, хуже этих разбойников, — обратился пристав к Андрею, — и тут доход нашли, почти с мертвых кожу готовы содрать...

Андрей уже не понимал последних фраз: словно его всего огнем обдало, он сразу почти обезумел, пораженный вестью о предстоящей казни Лосева с товарищами. Но затем важность момента властно привела его в себя. Страх выдать себя в то время, когда судьба уже ясно взглянула ему в глаза, преградить себе путь в решительную минуту заставил его остановиться в отчаянии, задушить готовый вырваться крик и отдаться долгу. Схватив последнюю фразу Самойлова, он почти спокойно, с ярко, но умышленно выраженным внешним любопытством обратился к палачу.

— Скажите, Юшков, ваше мнение: случается, что вешают невиновных?

— Как же, — улыбнулся палач, словно удивляясь вопросу, — сколько раз...

Юшков почти присел на подоконник в явном намерении поговорить на тему, в которой чувствовал себя компетентным, с офицером, непринужденная беседа с которым ему нравилась и льстила.

— Почему же вам известно, что он невиновный? — с увлечением настаивал бледный от волнения Андрей.

Палач пожал плечами и уверенно произнес:

— Видно сейчас — я сразу узнаю, как посмотрю! — похвастался он.

— Сразу? — не мог сдержать восклицания Андрей, не то пораженный, не то словно восхищенный. — Но как же?

Он трепетал в нервном подъеме, а палач, довольный и ободренный горячим вниманием к его рассказу, совсем разохотился.

— Трудно сказать, каким образом, — медленно, словно в раздумье ответил он, и усмешка ускользнула по его тонким губам, — это чувствуется, видно сразу, что человек ни за что в несчастье попал. Пред столбом чего отпираться, все равно ничего не поможет, один конец, и тогда иначе говорит человек — как сам с собой... Видно сейчас: или отбредивается для куражу, или, действительно, понапрасну... Такой до конца не верит, думает, что ни за что нельзя казнить... до самой минуты надеется, потому знает, что не полагается ему. Он и ласковее, и вообще — не знаю, как это вам выразить чувствительнее... Я сразу узнаю, — решительно подтвердил Юшков, умолк и серьезно задумался.

Тут Андрей встал сразу и порывисто так, что пристав и палач с удивлением посмотрели на него, и сильно бледный, но бодрый обратился ласково и сердечно к палачу:

— Скажите, Юшков, просто: что, вам таких в то время не жаль?

С какой целью он задал этот вопрос, Андрей и сам не знал; он намеревался говорить совершенно о другом, но последняя фраза как-то невольно родилась на его устах.

— Как не жалеть человека, ежели он в такое несчастье попал, — поводя бровями, холодно ответил палач, как буд-

то смекнув, чего именно добивается офицер, — но помочь ведь ничем нельзя, что тогда в жалости этой... Я тут при чем, — стал объяснять уже по инерции, — мое дело известное — исполняй! Я тут сторона, а таковая уже, значит, его судьба. Бог и больше никто! Разве суть в том, чтобы веревку надеть — это нетрудно, это всякий сможет, — как будто оправдывался Юшков, — все одно не спасти... Главное: дать веревку, присудить, значит, — это дело серьезнее, а они, глядишь, свободно вешают и правого, и виноватого; конечно, так нельзя. Да что же, наша арестантская доля такая, мы уже привыкли к суду, он что хочет, то и делает с нами, — покорно закончил он, — мы ихний материал...

— Юшков, — прервал его торжественно и горячо Андрей, схватив наконец свое желание, цель и мысль, и отдавшись им, — окажите мне Божескую милость, умоляю вас: кивните мне сегодня головой, если будет невиновный... Можно это сделать?

В голове, лице и глазах Андрее светилась такая мольба, чувствовалось такое важное значение для него этого дела, что Юшков, сделав большие глаза, в первый момент не мог ответить ему. Пристав также выразил на своем лице большое удивление.

— Разве сегодня будет невиновный? — спросил он.

— Будет, будет, — уверенно, с горячностью воскликнул Андрей, весь вздрогнув, — но я хочу проверить, проверить. Юшков, — молил Андрей, — ведь вам ничего не стоит: кивните мне головой, если он невиновный, я вам буду очень благодарен, вы не можете себе представить...

Объяснившееся искусство Юшкова разбираться в таком вопросе необыкновенно заинтересовало Андрея. Болезненная радость охватила его, как будто он нашел то, чего искала его душа. Юшкову же показалась интересной и забавной мысль офицера, и, вместе с тем, ему понравилось увлечение Андрея. И у него не явилось никаких оснований отказать ему.

— Отчего же, — повел он плечами, — это можно, почему не делать, — посмотрим, в чем дело.

Поручение это обещало палачу некоторое разнообра-

зие, развлечение, и он очень заинтересовался им. Андрей же вспылал к палачу настоящей благодарностью за его участие в его деле, казавшееся офицеру колоссального, решающего значения и он почувствовал в Юшкове сотрудника и единомышленника. Он отправился домой ждать последней ночи, чтобы тогда проявить наконец все, чем он жил и что чувствовал, чтобы окунуться в те ощущения и страдания, которые подготавливались и росли давно в нем и довели до того, что было так необыкновенно страшно, страшнее всего в жизни и неизбежно для него, как смерть...

Он ждал свидания с Лосевым и страшился встречи с ним. Он считал себя виноватым перед ним за созданную в нем надежду на жизнь. Он нуждался в его прощении и холодел от ужаса отнять у него эту надежду. Его воображение не верило в возможность говорить с ним теперь просто, как с обыкновенным человеком. Он сильно чувствовал и понимал лишь одно, что теперь словам не место, что тут следует самому биться, защищать и умирать... Остальное все ничто, такая же гнусность и зверство, как казнь...

## V

Почти с нетерпением ждал Андрей грядущих страданий. Он уже весь нераздельно предался им, отрешившись от всех других интересов и забот. Вся жизнь осталась у него позади, отошла из памяти, не существовала, исчезла потребность в сне и пище. В этот страстной для него день он уже безропотно покорился судьбе, как человек, простившийся с миром. Он стремился ко всему стихийно и неудержимо, был вне заботы о борьбе и спасении. Его ужас теперь казался ему естественным, как природа, он весь и всецело ушел в него. И когда Андрей в одиннадцать часов ночи явился в участок к Самойлову, он двигался и действовал страшно спокойно...

В участке было плохое, словно коричневое освещение, оставлявшее густые тени и не проникавшее в темные углы.



Хмуро глядели предметы и вся обстановка, как будто прятая в полусвете; атмосфера стояла душная и робкая, точно сжавшаяся и притаившаяся, все было в гармоническом сочетании: угрюмо и таинственно...

Товарищ прокурора был молодой, лысый человек, державший себя серьезно и важно, то и дело поглядывавший в темный угол, словно чем-то заинтересовавшись там. Он часто и непроизвольно притрагивался к своим красивым усам, как будто собираясь их разглядить, но ограничивался тем, что старательно вытирал углы своих губ. Пристав Самойлов, бледный, с суровой торжественностью все тянулся и следил за распоряжениями товарища прокурора. Он бегал в арестантские и обратно, неистово стуча сапогами, и был крайне озабочен. Городовой врач, неряшливый мужчина пьяного вида, тихо старался заговаривать со старичком-священником, приютившимся в кресле за приставским столом. Лицо батюшки казалось неподвижным, бесконечно усталым и темным. В передней стояли группами в пальто и шапках несколько околоточных надзирателей и городских, обменивавшихся отрывистыми, короткими фразами. Один почему-то хихикнул, и все сразу насторожилось, обеспокоенные в своей замкнутости. Голоса у говоривших были хриплые, будто спросонья, все тихо откашливались и то и дело осторожно вздыхали, как бывает в тяжелом ожидании...

Андрей прислонился к стенке между окнами, и трепетный страх будто пластами падал на его душу. Он изнывал в беспредельной тоске, и лишь урывками позволяла себе работать его мысль. Его вдруг охватывало здоровое недоверие к реальности всего происходившего, к намерениям и целям собравшихся здесь людей; он не верил, что все ожидающееся может происходить так просто, скромно, тихо и обыкновенно.

Вдруг все невольно и сразу обратили внимание на товарища прокурора, который тяжело вынул из кармана золотые часы и, подняв глаза на пристава, произнес против намерения глухо:

— Я думаю, пора... время...

Самойлов рванулся к дверям, всполошился, и сейчас же во дворе появился его резкий крик... Все сделали общее невольное движение, но, тут же поймав себя на нем, сразу спохватились — наступило короткое, гробовое молчание...

Со двора донесся мелкий и резкий звон, то дробившийся, то сливавшийся...

Он рос и приближался, и все с тяжелым, напряженным вниманием следили за его развитием... Словно звенели ряды шпор, лязг беспощадно шел, ближе и ближе, и нес с собой нервное и пугливое чувство и ожидание.

Быстро, почти бегом, ввалились в канцелярию приговоренные к смерти арестанты, торопливо и беспорядочно звеня своими кандалами, прыгавшими и бившимися на их телах. Окруженные тесной и трусливой толпой городских, преступники единым духом были увлечены в канцелярию и здесь, все сразу, вместе с городовыми, остановились, как вкопанные, и обратили свои взоры на чиновников...

Будто струя жесткого холода вошла сюда, и, подчинившись ему на миг, все замерло; а затем, товарищ прокурора стал решительно читать приговор. Произносил он слова с заминкой, но внятно, почти крича, точно внушая всем приговор, защищался им, оправдывался, объяснял, взваливал все на него, отдавая ему в жертву себя, всех и все... И все приободрились, слушая приговор, словно прятались за него, спасались им, становились незаметными и незначащими, безличными; он облегчал их, выручал из положения, в каком они находились. Эти люди органически требовали момента отдыха, передышки от того гнета и трепетного страха, которым они были полны, и получали этот перерыв тяжким самообманом, которому радовались и отдавались.

Приговоренные к смерти четыре человека находились в центре и смотрели на товарища прокурора остекленевшими взглядами беспамятного, резкого страха. В их глазах остановилась крайняя безнадежность, переживаемая на границе жизни и смерти, когда уже нет первой и еще нет другой... Было ожидание той силы и значения, которых никакими словами выразить нельзя, потому что его нельзя ус-

воить и определить. В их обликах, отекавших лицах светилась бесконечная тоска...

Андрей жался все плотнее к стенке, словно старался втиснуть себя в нее, и изнывал от переживаний, которым нет оценки, но непоколебимо терпел... Он больше чувствовал, чем понимал, что теперь происходит то, что страшнее всего на свете, выше всех ужасов жизни, фантазии, ада и пытки...

Чтение приговора окончилось скоро, и сейчас же все сразу сорвались с места и при общем шуме шагов и цепей направились поспешно к выходу, толкаясь и спеша, в инстинктивном стремлении выйти скорее, в неясной потребности скорейшего окончания этого дела...

Товарищ прокурора, доктор, священник, секретарь суда очутились на улице и почти побежали, стараясь держаться ближе друг к другу и в то же время опережать один другого; они стремились к черневшим правильными громадами неподалеку от участка, среди крепостных валов казармам...

Андрей спешил с ними, боясь их потерять, отделиться от общей компании...

Пристав же, надзиратели и городовые вдруг, как бы стийно, сообща бросились на преступников и с безмолвной, чисто нервной яростью беспощадно потащили их по ступенькам лестницы во двор. Они волокли их тесной гурьбой, почти в свалке, тяжелые порывистые вздохи и вскрики мешались с беспорядочным лязгом цепей и стуком кандалов и сапог. Казалось, что эти люди обезумели от страха перед неизбежными мольбами и слезами, что они без памяти спешили избавиться себя от них, от глаз и лиц преступников, и все это рождало в них гнев и ярость. Они пришли в бешенство от тяжелых переживаний, которые преступники им давали своей участью. Быстро, чтобы те не могли опомниться, они впихнули, почти бросили приговоренных к смерти в ожидавшую посреди двора громоздкую, черную и глухую карету, стремительно стукнули дверцей и затянули засов. Карета затряслась, загромыкала по камням мостовой и, окружив ее, бежали, будто убегали вместе с ней, полицейские. И, запыхавшись и взволнованные, они

прибежали к месту, где должна была совершиться казнь...

## VI

Сравнительно небольшая площадь между двумя крепостными валами и казарменными складами освещалась военным прожектором, установленным на валу. Широкий поток электрического света то робко вздрагивал, то исчезал, то упорно устанавливался и давал густые, матовые тени от людей, лошадей и виселицы из трех потемневших серых бревен со свесившимися посередине четырьмя короткими, белыми веревками. Холодный свет прожектора еще усиливал мрачный колорит картины. Казалось, что происходит все в каком-то сонном царстве, вдали от жизни и мира, где все живет и действует безвольно, но с механической твердостью и правильностью.

Андрей, истощенный медленным мучительством все растущей тоски, оживлялся моментами от улыбки надежды, что все это обман больной фантазии. Но сейчас же он покорялся действительности и уныло отдавался во власть скорби и совершающегося в самой возмутительной, циничной форме преступления, сознавая, что не к кому взывать о помощи: словно весь мир вымер...

Он с жадностью и страхом искал глазами палача и вдруг замер, угадав его в человеке, спокойно и деловито возившемся у виселицы. Его крайне удивил наряд Юшкова, его красная кумачовая рубаха, красный колпак и прицепная грубая, черная борода. За поясом у Юшкова висела нагайка. Андрей не был знаком с этой официальной, узаконенной формой русского палача...

Кругом было тихо и безмолвно; стояла мрачная торжественность, общее напряжение чувствований и переживаний. Все притворилось, будто никакого отношения ко всему происходящему не имеют, будто все делается против их воли и желания, и казались притаившимися заговорщиками, которым мешал нервировавший их беспокойный свет

прожектора. Один лишь палач был в движении и выражал жизнь... Он действовал с сознанием собственного достоинства и серьезности возложенной на него обязанности.

Манеры у него были солидные, движения сильные и ровные. Он был всецело поглощен своим делом, успешностью исполнения. Он искоса бросал деловые взгляды на собравшихся неподалеку чиновников и словно покровительствовал этим людям, возлагавшим на него все свои надежды, пользовавшимся его поддержкой, искусством и решимостью. Он как будто ободрял их взглядом, понимая их состояние, сочувствовал жившей в них потребности скорого окончания казни, чтобы поработивший их гнет стал излишним и поздним. Сознание неизбежности этого момента служило нравственной поддержкой в тяжелую для всех минуту. Теперь же все казались ничтожными и жалкими перед палачом, который вел себя важно и властно...

Наконец Юшков выпрямился, поправил на себе колпак, оттянул рубаху и, сделав два шага от виселицы, прямо и внимательно, как знаток, обвел взглядом четырех преступников, только что извлеченных из кареты. Лосев и его товарищи торопливой походкой, под аккомпанемент резавших воздух своим лязгом кандалов шли, почти спешили к палачу, теснимые городовыми.

Преступники не озирались и не сопротивлялись и не рыдали, а почти вплотную, безмолвно, в покорном ожидании стали около Юшкова и отделились ему, его праву, которое они уже усвоили всем своим существом. Они дышали порывисто и часто от томительного страдальческого волнения, словно последний раз они спешили вкушать воздух и в то же время нетерпеливо ждали конца, изнемогшие от непрерывного тягучего страха пред наступившей тайной их переживаний и смерти. Их серые, словно запыленные лица были безгранично печальны, как бы озабочены неизбежностью того, во что не позволяла верить человеческая природа, их как бы изумляло отсутствие сочувствия и сожаления среди равных им по созданию людей.

Андрей узнал Лосева, хотя он уже мало походил на того человека, с которым он виделся в тюрьме. У Лосева опух-

ла щека от страшной зубной боли, которой он страдал в последние сутки перед казнью. В последний раз Андрей вздрогнул от удара мгновенной, как дуновение ветерка, надежды, увидев, как бережно Юшков снял с лица Лосева повязку. В движении палача проглянула мягкость, сквозившая сочувствием, не совмещавшаяся с той жесткостью, которую палач сейчас должен был проявить. С безграничным унынием, словно из него уже выкачали душу, смотрел Лосев на палача. Он был весь — слабость и жалость, и, казалось, недоумевал — неужели все эти люди смогут просто смотреть, когда его будут мучить и убивать, что это возможно, что еще не все превзойдено человеческой суровостью и жестокостью... Целый сумбур страдания, отчаяния, совершенная растерянность на пороге смерти...

Кругом жил мертвый, ровный страх — общая оцепенелость; каждый старался быть и казаться спокойнее, чем он бывает в остальное время своей жизни. Словно казнь, для совершения которой каждый явился сюда, являлась для него совершенно простым и естественным делом. Всякий опасался, чтобы кто-нибудь не заподозрил его в нервности и волнении.

Но такое внешнее, искусственное спокойствие и глухое равнодушие было страшнее, чем если бы все безумно кричали от нестерпимого ужаса, молили и рыдали. Никто не желал подчиняться своей душе, каждый держал ее силою своей воли, побеждая себя сознанием кратковременности этого, необходимостью выдержки до той желанной минуты, когда все будет кончено, и некого уже будет жалеть, когда все станет непоправимым, и потому легко и свободно будет душе, совести и сердцу. Каждый облегчал и поддерживал себя поведением соседа, каждый старался не видеть другого, и в то же время все жались теснее друг к другу. И общее упование направлено было на палача, оказавшегося хозяином положения, выделявшегося ярко и смело рельефной, картинной своей фигурой. Вся толпа упорно следила за действиями Юшкова и перипетиями казни, и ни один звук, ни один вздох не нарушил тишину. Один лишь палач понимал и чувствовал, что он действует за всех, что он

выше всех, смелее и определеннее, и взглядом некоторого высокомерия он то и дело скользил по собравшейся толпе, приобщая ее к своему делу...

Андрей, увидев Лосева, хотел броситься в пароксизме беспокойства назад в толпу, в панической потребности укрыться, уйти от взгляда жалобы и укора Лосева. Андрей терялся, острый ужас его все рос, давил его, жег, но он не мог двинуться с места, следя, как прикованный, за казнью...

Основательно и внимательно Юшков связывал веревками за спину руки преступников, и ни по его спокойному и сосредоточенному лицу, ни по ровным движениям не заметно было, чтобы он чувствовал, какое страшное дело он совершает. И на такое отсутствие злобы преступники отвечали полной безответностью, гармонизовавшей со всей обстановкой их убийства, не вносили своим протестом диссонанса в казнь.

И в минуту общего подчинения совершавшемуся злодейству, когда люди замерли — в своем духовном общении с палачом, парализованные ледяной жестокостью — Юшков, похоронив в мешках трех человек, слабо покачивавшихся в своих саванах, почему-то замешкался с Лосевым...

Андрей, как бы чувствовавший то, чем жил теперь Лосев пред мешком, понял, что для него, как для Лосева, нет более жизни, что она кончена, что все оставшееся на свете: служба, карьера, семья, общество, народ, наслаждение, что все это прошло, не важно, не нужно и не имеет значения для жизни, которая ушла вместе с Лосевым, смысл которой уничтожен тем, чему он был свидетелем...

Андрей необыкновенно отчетливо видел, как палач придерживал мешок у плеч Лосева, внимательно заглянул ему в глаза и сочувственно обратился к нему с несколькими словами. Лосев, с лицом мертвеца без выражения и взора, слабо шевельнул губами в ответ палачу...

И, явно удовлетворенный, Юшков, подняв высоко брови, мягко положил Лосеву на голову руки, закрыл ее мешком и осторожно, придерживая его за плечи, повлек к виселице...

И когда палач установил Лосева на ступеньки и взялся за петлю, он прямо и быстро отыскал глазами Андрея и с

улыбкой загадочности сильно кивнул ему головой...

Тяжкий, безумный крик был ответом палачу... Он всех словно ударил своей страдальческой силой и страстью... Андрей бросился вперед — нельзя было медлить ни одной секунды, или он — не человек... И стремясь в страшном порыве вперед на помощь жертве преступления, он уже видел ее в фантазии, так как померк свет, уплыли из глаз и памяти предметы и люди, и Андрей повалился в бесчувствии на влажную землю...

## VII

Очнулся Андрей в высокой и душной кордегардии среди окружавших его чиновников, офицеров и полицейских. Они смотрели на Андрея с сочувствием и с снисхождением к его слабости, и были оживлены и довольны тем, что казнь сошла благополучно благодаря их стойкости. На душе у них было легко, они уже не боялись хороших мыслей и чувств. Они беседовали о посторонних вещах и старались показать, что думают обо всем, только не о совершенной казни, как о факте, менее всего достойном внимания и значения...

Андрей сидел среди них в состоянии полного бессилия и растерянности и не слушал обращенных к нему успокоительных фраз и слов. Ему теперь было более страшно, чем когда-либо, он боязливо смотрел на окружавших его людей, видя в них соучастников своего преступления, сроднившего всех на всю жизнь. Андрей стыдился того, что у него хватило сил пережить все это, и убеждался в своей безнравственности и жестокости. Он знал, что ему ничем не искупить грех преступления, потому что он совершил его более сознательно, чем другие.

Андрей исподлобья оглядывал всех, и ему казалась невероятной мысль, что после всего того, что эти люди сделали, они отправятся, как ни в чем не бывало, по домам, смогут целовать своих детей, жен и матерей, говорить о делах, совести и честности, молиться, говеть, целовать крест,



спокойно спать, смеяться, веселиться. Им будут подавать руку, они станут заботиться о будущем, о старости, думать о добре и зле и вообще жить, как живут все обыкновенные люди. И это его убедило, что на свете ничего высшего не существует, что оно лишь продукт человеческой фантазии для внешнего смягчения человеческой безнравственности и общего обмана, так как, если было бы иначе, то на свете не могло бы происходить то, что случилось сегодня ночью...

Дверь открылась, и в кордегардию вошел палач. Он был уже без прицепной бороды, и лицо его так же, как и у других, носило следы утомления. Он не имел уже того импонирующего вида, как во время казни, был скромен и прост. При его появлении все сделали общее движение, словно в порыве уйти — палач им был неприятен. Все казались смущенными от воспоминания о недавней совместной работе, и не могли сдержать чувства явной брезгливости к личности палача...

Юшков, по-видимому, сам чувствовал это и примирился — как с неизбежным последствием его положения и профессии. Но Андрея эта сцена сразу оживила — словно его ударили по лицу, жестоко оскорбили. Затрепетав в негодовании, он вскочил, готовый броситься к толпе. Ему стало необыкновенно обидно за Юшкова, им овладели стыд, презрение к себе и к своим сообщникам. Поведение всех показалось ему верхом недобросовестности, так как палач был выше их, прямее и искреннее; он хотел крикнуть всем, что они обязаны Юшкову исполнением черной работы их общего преступления, и сочувствовать ему. Андрею стало так мучительно страшно, будто он очутился в мешке палача, скрывшись в нем навсегда...

И, страдая от нестерпимой потребности покаяния, Андрей в безумном отчаянии содрогнулся от сознания, что нет на всем свете человека, пред которым можно покаяться. И в безнадежной, тяжелой тоске Андрей бросился к палачу, схватил его судорожно за руку, опустился на колени и простонал со страстной и мучительной мольбой:

— Юшков, Юшков, казни всех нас, ведь мы убийцы, подлые убийцы...

## ДЕТИ В ГОСТЯХ У ПАЛАЧА

### I

В отдельной камере полицейского участка сидел у окна арестант Василий Юхнов и упорно смотрел на двор...

Не будь решетки в окне, нельзя было бы заподозрить в этой комнате камеру заключенного. Тут была кровать с постелью и два стула, образ в углу, самовар, зеркало, цветок в глиняном горшке, большой сибирский кот ежился на кровати, над окном в клетке прыгала и царапалась канарейка. В теплом, несколько спертom воздухе слышался приторный запах какой-то пищи, смешанный с легким ароматом мяты. В камере было чисто и уютно, на полу дешевенький коврик, на сундуке широкое вышитое полотенце...

Юхнов, за исключением огоньков фонарей, ничего не видел за окном, но оттуда доносился какой-то неопределенный шум, ему чудилось неясное движение, там, за окном камеры, шевелилась жизнь, как будто рождавшаяся колебавшимися в воздухе, расплывчатыми звуками церковного колокола... Равномерные, ленивые удары его превращались постепенно в протяжный гул, который затем дробился, заполнял со всех сторон небо, надвигался, то рос, то замирал и создавал то чудное, полное чуткости настроение, когда человек против воли начинает глубоко, до самого дна своей души чувствовать все: и праздник, и весну, и нарождающуюся новую жизнь...

Юхнов не мог не подчиниться этому настроению; он сидел, как будто расстроенный наплывом чувств.

Каждый удар колокола словно толкал его, и палач вздрагивал от схваток тоски. Он рвался на улицу, в толпу, в шум и суету и теперь, более чем когда-либо, чувствовал ничтожество той сравнительной свободы, которая предоставлялась ему за решимость быть палачом.

Юхнов не страдал нравственно от своей профессии, потому что он смотрел на себя как на орудие закона и считал,

что несчастье казненного состоит не в том, что он, Юхнов, надевает на него петлю и выбивает из-под ног ступеньку, а в том, что человека приговаривают к смерти и поручают Юхнову исполнить этот приговор.

В душе Юхнова просто ожила жажда свободы, в ней защемило чувство одиночества, он ощутил острую потребность в той традиционной праздничной обстановке с обычными переживаниями и душевным подъемом, которая в такие дни выпадает на долю почти каждого человека...

Стукнул засов и в камеру вошел Савельич, старший городской, под надзором которого главным образом находился Юхнов, содержащийся при участке, потому что в тюрьме ему угрожала неминуемая смерть, согласно тюремным законам...

— Так что праздник пришел, — проговорил, усаживаясь на сундуке, седой, с потемневшей кожей городской, любивший поболтать с Юхновым, как с человеком более близким ему, чем обыкновенный арестант.

— Кому праздник, кому нет! — буркнул угрюмо Юхнов.

— Чего ты? — удивился Савельич. — По воле, видно, заскучал, — как будто догадался он, — разговеться захотелось!

Он стал лениво набивать трубку и флегматически закурил.

— А то что же, — огрызнулся палач, — не все же чурбаны на балку тянуть, тоже по-человечески хотелось бы время провести. Надоело без общества!

— Да, — глубокомысленно и спокойно согласился городской, привыкший к арестантским претензиям и нервничаниям, — в такую ночь обязательно требуется с людьми разговеться. Вот сосед твой тоже затосковал... «Дай, — говорит, — какую-нибудь компанию, потому не могу в святую ночь без человеческой души». Чудак, — пожал плечами Савельич, — где я ему достану общество, а человек хороший, компанейский, понимающий!

— Конечно, грустно, — подтвердил Юхнов. — А кто такой? — поинтересовался он.

— Бог его знает, третий день уже содержится. Я ему тебя в компанию предлагал, ей-Богу! — после короткой паузы

зы добавил Савельич, не удержавший улыбки от сознания пикантности этого предложения.

Палач поднял на него глаза.

— Ну, и что же? — быстро спросил он, с любопытством ожидая ответа.

— Ничего, — успокоил его городской, — такой же человек, говорит, как и мы, грешные, у всякого свое дело, без интереса никто пальцем не пошевелит.

— Правильно, — с облегчением, даже по-видимому польщенный, сказал палач, — должно быть, фартовый человек.

— Естественно, все грешны! — согласился философски городской.

— А ты приведи! — предложил вдруг Юхнов. — Все-таки веселее, — да ты ведь сам на дежурстве в такую ночь пропадаешь, словно арестант! — попытался он повлиять на городского. Старик повел рукой.

— Сегодня не могу! — произнес он загадочно. — У меня дети есть, птенцы на попечении!

— Какие? — удивился палач, зная, что он бездетный и вдовец.

— Славные ребята, парочка, — продолжал старик, и в голосе его как будто послышалась нежность, — пристав поручил мне их, пока в приют не сдадут, приبلудные, что ли, какие.

— Скажи пожалуйста, — произнес Юхнов, видимо заинтересовавшийся словами старика, — вот бедные. А нельзя и их сюда? — вдруг живо воскликнул он от мысли, внезапно родившейся под впечатлением слов старого городского. Он легко поддался порыву участия к детям вследствие создавшегося предрасположения к известной чувствительности, потребности в хороших ощущениях и чувствах.

Его стала уже прельщать мысль об обществе детей за пасхальным столом, манили сердечные речи и нечто вроде семейной картины.

— Право, Савельич, и ты разговеешься с нами, все-таки легче будет, — убеждал он старика, — выпивка, снеди, все как следует есть, что стесняться, приведи...

## II

...Когда Савельич предложил заключенному в соседней камере арестанту, Владимиру Охову, отправиться на разговенье к Юхнову, Охов вскочил, вздрогнул и даже просиял от удовольствия, хотя в первую минуту и не поверил такой удаче. Охов долго принимал все меры к тому, чтобы попасть в участок, поближе к палачу, и при первом случае убить его, и вдруг его задача так прекрасно разрешалась. Ему даже показалась забавной мысль расправиться с Юхновым при встрече светлого праздника и его радость доставила удовольствие Савельичу, полагавшему, что он делает доброе дело, облегчая участь заключенного.

— Тут ведь все равны, — шутя, сказал Савельич. — Он такой славный парень, ей-Богу, — не то оправдывал он Юхнова, не то хотел ободрить Охова, — пойдем, разговеемся вместе.

Когда арестант и городской появились в камере Юхнова, они невольно остановились на пороге. Камера была ярко освещена: кроме лампы, пущенной во весь огонь, на столе в бутылках горели свечи, а на сундуке неизвестно для чего стоял зажженный обыкновенный фонарь. Палач зажег все, что мог; казалось, он хотел залить светом свое маленькое помещение, он не знал, как удовлетворить свою потребность в торжестве, празднике и сильных впечатлениях. Он поддался какой-то нервной хлопотливости, ажитации и с увлечением уставлял стол колбасами, булками, орехами, бутылками, посудой, всем, что он припас к празднику.

Лицо Юхнова было оживлено и с улыбкой удовольствия он бросал взгляды в угол, где, прижавшись к печке, стояли мальчик и девочка.

Ничто не может так отражать печаль и горе, как детские лица. И достаточно было взглянуть на детей, прижавшихся к печи в камере палача в инстинктивной потребности какого-нибудь тепла и участия, чтобы сейчас же проникнуться глубоким сочувствием к ним. В выражении глаз, колорите лиц, складках губ, во всем существе их сквозили

безграничная безропотность и слабость; весь их безответный облик говорил о безысходном отчаянии. И производимое ими впечатление так влияло на палача, что он стал действовать в бессознательном подчинении желанию облегчить участь, утешить своих случайных гостей.

Арестант даже вздрогнул при взгляде на жалкую пару, остановившую на нем взор тупого испуга, хотя он их своей особой ничуть не тревожил; души и сердца брата и сестры были насыщены каким-то мертвым страхом.

Палач радушно встретил Охова и скоро все общество сидело дружно вокруг стола, на котором извергал пар самовар. Стало уютно и торжественно. Старшие наперебой ухаживали за детьми и, после незначительных общих фраз и пожеланий, Охов высказал наконец мысль, занимавшую все время его и Юхнова.

— Как вы, птенцы, попали сюда, что с вами? — вопросительно взглянув при этом на Савельича, спросил арестант.

— Право, не знаю, — пожал плечами слегка захмелевший городской, — пристав приказал два дня в казарме передержать...

Тогда палач положил ласково руку на голову мальчика и спросил:

— Скажи, паренек, что с вами, почему вы в такую переделку попали? Где отец и мать ваши, скажи, горемычный?

Все со вниманием ждали ответа от мальчика, быстро заволновавшегося от проявленного к нему сочувствия. Видно было, что горе с еще большей быстротой ударило в его сердце, и сперва тихо, а затем словно воодушевляясь собственным несчастьем, он порывистым, резким голосом, в котором звучали обида, боль и безнадежность страдания, стал рассказывать при гробовом молчании присутствующих:

— Пять дней тому назад папу повесили... у нас была сходка... пришла полиция... гости стали стрелять... ей-Богу, папа не был виноват, они сами сделали это... Мама все делала, чтобы папу спасти, чтобы на каторгу... ничто не могло... папу повесили...

— Бедные папа и мама... — тихим, едва слышным тоном вырвалось из запекшихся губ девочки. Мальчик вздрогнул, что-то как будто задержалось у него в горле, словно перехватило дыхание.

— Мама все плакала, плакала, пока у нее хватало слез... Потом она просто мучилась... В ту ночь, когда папочку вешали, мы все чуть не умерли... да, чуть не умерли... чуть не умерли.

Мальчик настойчиво твердил одно и то же и с трудом сорвал себя с этой мысли; он не мог постичь до сих пор, как они все вынесли этот час страданий и ужаса. Он говорил с тоской, голосом, дрожавшим от спертого дыхания.

— Мы все время тогда молились на коленях. Боже, что это было, что это было... Мы знали, что там сейчас папочку вешают... Мы чувствовали, что он чувствовал... Мы чувствовали, как его брали... все чувствовали... Мы не знали, что делать... как жить в эту минуту...

Все слушали, затаив дыхание, пораженные трагедией жизни. У старого городского стояли слезы на глазах, потому что он был чувствительнее всех. Палач сидел потрясенный, полный жалости к страданиям его маленьких гостей, которых он накормил и обогрел. Он рад был бы чем можно помочь им и почти не думал о том, что он пять дней тому назад вешал отца этих самых маленьких страдалцев. Он никогда не смотрел на себя, как на виновника казни, потому что действовал по распоряжению начальства, которое он, как старый арестант, слушал, уважал и которому привык подчиняться, и исполнял смертные приговоры без личной вражды к казнимым. Вследствие этого он отстранял от себя нравственную ответственность, не придавал никакого значения своему участию в казни отца детей и полагал, что ничто не мешает ему сочувствовать бедным детям и жалеть их.

Арестант же Охов во время рассказа мальчика сидел в ярости и выбирал момент, когда он наконец приведет в исполнение тот акт, ради которого явился сюда. Но, наблюдая за волнением палача, он вдруг вздрогнул от явившейся мысли испытать палача. Он вздумал использовать

ложное положение Юхнова; его озлила и обидела эта доверчивость бедных детей к палачу их отца, нарушение всех законов правды и справедливости.

Он так и впился глазами в Юхнова, следившего с острым вниманием за словами мальчика. Последний почему-то больше всего обращался к палачу, жаловался ему всей силой своей обиженной души, словно взывал к его сердцу, требовал его сочувствия, ласки и утешения. По какому-то злему противоречию, палач больше всех вызывал его симпатию. Угадав, что это утешает палача, арестант вдруг нагнулся к нему и шепнул ядовито на ухо:

— Чего не признаешься, что ты родителя порешил? Похвались.

Юхнов вздрогнул, словно его укололи, и зло взглянул на соседа.

— Брось! — не без беспокойства произнес он.

— А я скажу! — с искривленной улыбкой, вызывающе подтвердил Охов.

Тогда на лице палача ясно отразился испуг и с продолжительным вниманием он впился в лицо арестанта, сразу почуяв в нем врага.

— Тебе-то какое дело? — глухо произнес он, все-таки не веря в угрозу соседа.

— А так, пусть благодарят тебя...

Сознание опасности сразу охватило палача, и вместе с тем, острая боязнь того впечатления, которое постигнет детей, когда они узнают, к кому они так доверчиво отнеслись. Тревога его росла с каждой минутой, он страшился разочарования детей, их дальнейшего поведения, своего положения перед ними, их взглядов и слов. Он растерялся, сам определенно не постигая своего увеличивающегося страха; на лбу его выступил крупный пот. В то же время, бешеная злоба подымалась в его душе против человека, так бесцеремонно нарушавшего его покой, редкое наслаждение обществом и праздником. Губы его дрожали, кулаки сжимались, его грозный взгляд сталкивался с острым, испытующим, как будто дразнящим взглядом арестанта. А бедный мальчик уже тихо-тихо продолжал:



— Мама так убивалась, так билась, что соседи ее связали... а то бы она сделала что-нибудь с собой. Ах, какая мама была тогда страшная...

— А где она сейчас? — нагнулся с участием к мальчику городской. Мальчик безнадежно поднял плечи и возвел глаза к небу.

— Не знаю... три дня как ушла она, нет...

Мальчик вдруг стал тихо плакать и это словно послужило сигналом для его сестры. Резкий крик ее заставил вскопить всех на ноги.

— Количка, дорогой Количка, перестань... я не могу... не выдержу... Мамочка, мамочка! — завопила она.

Эта сцена отчаяния привела в ярость Охова. Он не выдержал, с ненавистью в душе и слезами на глазах протянул он руку к палачу и крикнул сдавленным голосом:

— Вот он, дети, вот он...

Потрясенный воплями девочки, Юхнов окаменел, но, услышав крик Охова и угадав его намерение, он, поглощенный мыслью во что бы то ни стало не допустить до того, что в эту минуту его безумно страшило, озлобленный нападением гостя, бешено бросился на арестанта. Враги упали на пол, смешались в тесную массу двух вздрагивающих тел и, казалось, жаждали проглотить друг друга среди общей хрипоты, возгласов, зубного скрежета и ярости...

Диким воплем пронеслась тревога Савельича и через несколько минут камера была полна народа. Когда городские оторвали палача от его врага, Охов лежал, откинув голову, весь изодранный, с выпученными страшными глазами, задущенный. Палач же с помутившимися глазами умирал, заливая пол потоками крови, лившейся из распоротого живота.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Вошедшие в книгу рассказы публикуются по указанным ниже изданиям. Орфография и пунктуация приближены к современным нормам. В оформлении обложки использована работа К. Д. Фридриха.

### **Пропавший труп**

Публ. по: Брейтман Г. Жуткие рассказы. Б.: Heinrich Caspari, [1920]. Ранее в сб.: Брейтман Г. Рассказы. Т. I. СПб.: Союз, 1914.

### **Сверхъестественное происшествие**

Публ. по: Брейтман Г. Сверхъестественное происшествие, любовное приключение и др. рассказы [на тит.: Расстрел, Сверхъестественное происшествие и др. рассказы]. Б.: Изд. Ольги Дьяковой и Ко., 1921. Рассказ публиковался также в журн. «Русь» (№ 1, 1920), где был датирован 1919 г. Унифицировано написание фамилии «Липак» (в тексте встречается также «Лупак»).

### **Елка для мертвых**

Публ. по: Брейтман Г. Рассказы. Киев: Тип. 1-й Киевской артели печатного дела, 1909. В сб. «Жуткие рассказы» под загл. «Елка».

### **Совесь сторожа Варфоломея**

Публ. по: Жуткие рассказы.

## **Беглецы**

Публ. по: Жуткие рассказы.

## **Мертвая свеча**

Публ. по: Жуткие рассказы.

## **Череп**

Публ. по: Жуткие рассказы.

## **Мой час**

Публ. по: Жуткие рассказы.

## **Преступление**

Публ. по: Брейтман Г. Правда жизни: Рассказы. Киев: изд. С. М. Богуславского, 1907. Данный сб. подвергся аресту и был изъят из обращения.

## **Спасение**

Публ. по: Брейтман Г. Правда жизни: Рассказы. Киев: изд. С. М. Богуславского, 1907 (здесь под загл. «Казнь»). Загл. взято из более поздней версии рассказа в сб. «Жуткие рассказы», в остальном же текст следует ранней версии — на наш взгляд, значительно более удачной, нежели поздняя.

## **Убийца**

Публ. по: Жуткие рассказы.

## **Казнь**

Публ. по: Жуткие рассказы.

## **Дети в гостях у палача**

Публ. по: Брейтман Г. Кафешантан: Рассказы. Б.: Polyglot-te, 1929. В «Жутких рассказах» под загл. «Палач».

## ОБ АВТОРЕ



Григорий Наумович Брейтман (1873-1949) — прозаик, журналист, драматург, театральный критик, киносценарист. Уроженец Одессы. Широко публиковался в периодике Одессы, Киева, Петербурга. Рано заработал себе славу знатока криминального сословия, опубликовал кн. «Преступный мир: Очерки из быта профессиональных преступников» (1901).

В 1906-1919 гг. редактор-издатель киевской газеты «Последние новости», с 1912 г. член правления Киевского Литературно-артистического клуба. В 1917 г. руководил одним из профсоюзов театральных деятелей, с сентября 1918 г. председатель профсоюза артистов варьете и цирка.

В начале 1919 г. эмигрировал в Германию, в 1921-1924 гг. редактировал берлинскую газету «Время». С 1925 г. жил в США, был сотрудником нью-йоркской газеты «Русский голос», с 1930 г. — редактор чикагской газеты «Рассвет». Скончался в США.

Помимо книги «Преступный мир» (1901), опубликовал в 1903-1917 гг. ряд сборников рассказов на самые различные темы (уголовный и театальный мир, ужасы и пр.), включая яркие тексты, направленные против смертной казни. Сборник «Правда жизни» (1907) был конфискован. В 1914 г. Брейтман преследовался по суду за публикацию рассказа «Невинно осужденный» в сборнике «Рассказы. Том I» (ранее в газете «Биржевые ведомости») и был

приговорен к четырем месяцам заключения в крепости; в 1915 г. приговор был отменен по кассации. В эмиграции в 1920-1930 гг. Брейтман продолжал публиковать сборники рассказов, нередко включавшие ранее опубликованные в России произведения.

## Оглавление

Пропавший труп	6
Сверхъестественное происшествие	14
Елка для мертвых	51
Совесь сторожа Варфоломея	68
Беглецы	78
Мертвая свеча	88
Череп	104
Мой час	115
Преступление	124
Спасение	133
Убийца	142
Казнь	151
Дети в гостях у палача	175
Примечания	183
Об авторе	186

## POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.